Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич
Шоколад

OCR и вычитка Ю. Н. Ш. yu_shard@newmail.ru
Март 2005 г.

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885--1938) -- русский советский писатель. До революции окончил университет. В 1905 г. вступил в партию большевиков. В 1-ю мировую войну офицер-подпоручик. Принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях. В октябре 1917 г. арестовывал генерала Краснова, о чем Краснов пишет в своих мемуарах "На внутреннем фронте".

В гражданскую войну Тарасов-Родионов был красным командиром, в 1920 г. командовал 53-й стрелковой дивизией.

После гражданской войны до 1924 г. служил в Верховном суде СССР.

В начале 20-х годов стал профессиональным писателем пролетарского направления. Участвовал в литературных группировках "Кузница" и "Октябрь". Затем был одним из активных членов РАППа. Пользовался доверием и поддержкой коммунистического руководства страны, выезжал за границу. По этому поводу привожу отрывок из книги Брайана Бойда "Владимир Набоков. Русские годы", в нем же говорится и о дальнейшей судьбе Тарасова-Родионова:

"Той же зимой в Западной Европе побывали и такие советские писатели, как Алексей Толстой и Михаил Зощенко. В противовес этим набегам на Запад писателей-"попутчиков" с "буржуазным уклоном" Советы посылали в Европу и своих культурных представителей -- пролеткультовцев. Одним из них был Александр Тарасов-Родионов.

В своей знаменитой повести "Шоколад" (1922) Тарасов-Родионов одобряет решение партии расстрелять одного из верных коммунистов, арестованного по явно ложному обвинению, для того лишь -- мораль весьма воодушевляющая, -- чтобы продемонстрировать массам, что революция может себе позволить не щадить никого (в 1937 году Тарасов-Родионов сам стал жертвой этого принципа: он был арестован по доносу и через год умер в лагере). В декабре 1931 года в Берлине он оставил Набокову записку в книжном магазине Лясковского, куда тот часто заходил полистать новинки. Сирин из спортивного любопытства согласился с ним встретиться. За столиком в русско-немецком кафе Тарасов-Родионов уговаривал Набокова вернуться на родину, чтобы воспевать там радости жизни -- колхозной, партийной, деревенской. Сирин ответил, что с радостью вернется при условии, что в России "он будет пользоваться такой же неограниченной свободой творчества, как и за границей. "Разумеется, -- уверил его Тарасов, -- мы можем гарантировать вам лучшую из всех возможных свобод -- свободу в границах, установленных коммунистической партией"". Когда к ним обратился по-русски бывший белый офицер -- он всего-навсего предложил им купить у него шнурки для ботинок, -- сталинский приспешник задрожал от страха, заподозрив слежку: "Так вот какую игру вы со мной затеяли".

После XX съезда КПСС А. И. Тарасов-Родионов был реабилитирован.

Эл. версия "Шоколада" сделана по 5-му изданию книги, выпущенной издательством "Пролетарий" в 1930 г. в г. Харькове (в то время он был столицей Украинской Советской Республики). Тираж издания 4000 экз. Цена 1 руб. 25 коп.-- *Ю. Ш.*

А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ

ШОКОЛАД

ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОЛЕТАРИЙ"



г. Харьков

1930

I

Смутною серенькой сеткой в открывшийся глаз плеснулась опять мутно-яркая тайна. И нервная дрожь проструилась по зябкому телу, и ноет в мурашках нога. Но сразу внезапно резнуло по сердцу, и все стало дико-понятным: узкая жесткая лавка, сползшее меховое манто, муфта вместо подушки и глухая тишина, нарушаемая чьими-то непривычными всхрипами. Да где-то за стенкой уныло пинькала, падая в таз, редкая капелька, должно быть воды.

И стало жутко-жутко и снова захотелось плакать. Но глаза были за ночь уже досуха выжаты от слез, а у горла, внутри, лежала какая-то горькая пленка. Елена осторожно протянула онемевшую ногу, подобрала манто и насторожилась.

"Ни о чем бы не думать! Ни о чем бы не думать",-- пронеслось в мозгу.

Но какой-то другой голосок, откуда-то из-под светло-каштанных кудряшек, которые теперь развились и обрюзгли, тянул тоненькой ледяной струйкой: "Как не думать?! Как не думать -- а если сегодня придут, уведут и расстреляют?!"

И снова мокрая дрожь пронизала Елену.

За стеной, коридором, чьи-то шаги. Как чуткая мышка, спасаясь от кошки в угольный тупик, Елена навострила ушки. Кто-то шел равномерной, неторопливой походкой, и его гулкие стопы своим топотаньем заслонили тусклое звяканье падающей капельки. Вот шаги близятся к двери, вот -- мимо, мимо уходят. Пропал приступ страха, но сердце Елены колотится жутью. Рамы седеющих окон ясней и ясней прозрачневеют, и лишь по-прежнему храпят лежащие по углам мужчины.

"Что за животные! Как это они умудряются спать так спокойно, -- думает Елена. -- Сегодня ночью из них увели целых пять, и обратно они не вернулись. Боже мой, боженька! что теперь с ними?!"

А услужливое воображение уже вырисовывает ей темнеющий угол каменного двора с бугорками запачканных кровью расстрелянных тел. Никогда ничего похожего Елена не видала ни в действительности, ни на картинках, но кто-то когда-то ей рассказал обо всем этом, очень наглядно, и образ рассказа вонзился ей в память, будто живой.

"Латыш ведь сказал, что сегодня судьба всех нас будет разрешена, -- пронеслось в ее сознаньи. -- Пятерых уже нет, осталось только четверо. А может быть, и меньше?!" -- подумала она и ужаснулась. Ужаснулась и встала и стала на цыпочках красться вдоль стен, чтоб проверить. Вот у окна круглым клубом чернелся Гитанов, завернувшийся в шубу толстяк. В двух шагах от него в уголке, под серой солдатской шинелью, вытянув длинные ноги, спал Коваленский; а там, на отскочке, поодаль, возле стола распростерся и тот, неизвестный, с бессмысленным, пристальным взглядом куда-то насквозь вдаль смотрящих сереющих глаз.

"И фамилия его какая-то странная,-- подумала Елена,-- Фиников! Никогда, никогда раньше такой не слыхала. Что-то приторно-сладкое, липкое, экзотическое. Да и человек какой-то он несуразный, никогда раньше нигде не бывавший. Не он ли навлек этот арест?"

-- Фиников,-- пробуркнул он быстро и глухо, так что даже Латыш, всех их переписавший, заквакал тревожным вопросом: -- квак? квак? квак?

-- Фи-ни-ков! -- отчеканил тогда неизвестный, и Латыш успокоился сразу и перевел испытующий взгляд на Коваленского.

"Неужели же он -- Коваленский?-- подумала Елена. -- Ах, как знать? Нынче в душу чужую не влезешь. Гвардейский поручик, белоподкладочник, жуир, балетоман... накачался гражданского долга и... несчастненький, бедненький... Страшно даже подумать,-- содрогнулась она внезапно, -- с кем захотел потягаться, чтоб сделаться лишнею жертвой расстрела!"

"И Гитанов? Этот толстый, лощеный, всегда чисто выбритый и расчесанный гладко тюфяк, душка-режиссер, кумир молодых инженюшек... Ах, впрочем, разве существует пощада или здравый смысл у этой кровожадной людской мышеловки?! Всех, всех расстреляют и ее, Елену Вальц, в том числе. А за что, за что?" -- задумалась она и, хрустнув пальцами, машинально, пластично заломила вверх руки. И стало прохладней. Сырое, желтое северное утро прозрачным утопленником медленно, грузно сползало в колодец темного двора, куда выходили белесые окна. Опять стало жутко. Быстро, бесшумно вернулась Елена к скамейке, легла и закуталась в мягкий мех манто с головой.

"Ни о чем не думать! Ни о чем бы не думать!" -- стиснувши зубы, настойчиво сдавила она свои мысли. Широко раскрывшийся глаз под манто уже ничего не видит. И стало приятно тепло от собственного дыханья и мягко от пушистого меха, щекочущего носик и щеки. И пахло духами, как свежей травой в душистое майское утро.

"Должно быть, от платочка, что смочен слезами, запрятан в муфту, под головой". -- Но доставать не хотелось. Истома баюкала руки. Как стало вдруг мирно, легко и уютно! Припомнилось мягкое ложе постели... а может быть, это уже не постель, а... лужайка под липой и брызжущим солнцем в зеленеющем парке, и нежно былинка щекочет, ласкаясь у ушка... А там, наверху, в голубом и бездонном огромном провале, крутятся, бегут облака. Нет, это не облака. Это колеса ландо, которые, быстро-пребыстро вертясь, жуют хрусткий гравий аллеи. Ноги Елены укутаны пледом. Его поправляет услужливо рядом сидящий. Он -- милый, и рука его в упругой коричневой лайке. Так хочется вскинуть ресницы, нависшие тучкой, и весело бросить глазами в лицо его радостный, нежный, ласкающий луч. Ведь это ее Эдуард, Эдуард из английского посольства. Неужели он не догадается протянуть ей плитку Кайе-шоколаду, который она так любила сосать на прогулках. Она поднимает глаза.-- Господи! Как это страшно. Это -- не Эдуард. Это -- какой-то другой, бритый, с огромным лицом, -- шевелятся в ужасе кудри Елены. Да ведь это -- Латыш! тот самый Латыш, что их арестовывал. Пронзает ее он жестокой враждебной насмешкой и сильной рукой срывает с колен ее плед.

-- Елен Валентиновна! Елен Валентиновна! Голубушка, не волнуйтесь! За вами!..

Это пухлый голос Гитанова, и весь он, как жирная туша, стоит перед нею и робко трясет меховое манто. Даже успел причесаться. Только ни галстука, ни воротничка: то и другое небрежно брошены на подоконник. Поодаль, подергиваясь всем лицом, весь прищурился, въелся глазами в нее Коваленский, а рядом бесцветно спокойный взгляд Финикова. Он равнодушен. Его не смутят никакие слова, никакие движенья... Но все это только мгновенье: шпалеры кулис в мимоходе.

Главное -- это какой-то Брюнетик. "Должно быть, еврейчик", -- мелькнуло в сознаньи Елены. Он стоит возле самой лавки, а за ним, будто тень, часовой со штыком, красноармеец. Пружинкой вскочив, отряхнулась Елена, набросив на плечи манто.

-- Возьмите все с собой! -- поправил Брюнетик, и -- жестом на лавку.

-- Как все? Так значит я больше сюда не вернусь!?-- и сердце Елены зальдело. Дрожащими руками накинула на голову шелковый шарф, схватила муфту, обула калоши и, не успевши ни с кем попрощаться,-- ах, будь, что будет,-- подпрыгивающей, нервной походкой помчалась вслед за Брюнетиком в коридор. Следом их тяжело догонял часовой. Растерянные взгляды ее сотоварищей только мгновеньем мелькнули им вслед. "Будь, что будет, но только б скорей". И стало вдруг жарко-прежарко, и щеки огнем запылали.

Пройдя коридор, спустились по лестнице; снова прошли коридор, закоулком вышли на новую лестницу. Вверх поднялись и, две комнаты минув, остановились перед третьей.

-- Вы здесь побудьте! -- Брюнетик сказал часовому и пропустил перед собою Елену.

Комната с обоями цвета бордо. Как будто сгустки чьей-то размазанной крови капнули в мысли Елены. На улицу одно большое окно с драпировкой вишневого цвета. У окна этажерка в бумагах пылеет, у стены возле двери стол, опять же в бумагах. А посредине комнаты уж не стол, а столище. И сидит за ним прилично одетый белокурый мужчина.

-- Вот Елена Вальц, -- сказал провожатый. Тот поднял глаза с тупым и усталым, бессмысленным взглядом.

-- Садитесь. Вот здесь, -- пододвинул он стул и свет от окна ей упал на лицо. И снова Блондин продолжает писать, методично, спокойно. Села Елена, а рядом подсел ее спутник, Брюнетик, и густо их вместе склеило молчанье. И только в височках Елены частил молоточек.

Наконец, Блондин кончил писанье, промокнул, отодвинул. Взял новый лист чистой бумаги, что-то пометил и грустно, тихонько спросил:

-- Ваше имя, звание, профессия и адрес?

-- Елена Валентиновна Вальц, балерина; Капитанская 38, квартира 4.

-- Что заставило вас быть вчера у Гитанова?

-- Он мой старый знакомый. У него собираются гости из прежних друзей театрального мира. Теперь, когда голодаешь... буквально...-- и слезы непрошенным током затуманили глаза у Елены. Смутный силуэт Блондина тянется к ней с графином и стаканом.

"Да, да, -- она сейчас успокоится".

"Ей ничего не грозит, если она будет говорить только правду. О, да, она знает".

-- Но какую же нужно вам правду? Ведь я ничего, ничего не знаю!

Но Блондин подает ей конвертик, достает из него письмо.

"Нет, она его никогда не видала и видит впервые".

"Как он мог очутиться у стола под ковром возле того места, где она сидела, на квартире Гитанова во время ареста?"

"Ах, почем она знает?!"

Какой-то железный клубок -- не нитей, нет -- а огромных чугунных цепей, канатов, сжимает ее хрупкую маленькую фигурку.

"Погибла!"-- сверлится в мозгу.

-- Погибла! -- шепчут побледневшие губы.

Муфта упала, а острые, липкие взгляды этих двух -- спокойного Блондина и нервного Брюнетика -- колют и колют все глубже и глубже, под самое сердце. Руки судорожно хватаются за стол, спазмы диким вывихом стиснули горло, все поплыло, покачнулось.

... Опять усталый, скучающий голос:

-- Успокойтесь!

Удобно и мягко ее голова откинута на спинку кресла. Перед глазами угол изразцовой печи. Разве она здесь была? Ну, да, комната все та же и те же жесткие люди, но взгляды Брюнетика как будто бы мягче.

-- Скажите, -- неожиданно спрашивает он, визгливо звеня голоском,-- кто был около вас перед тем, как вас оцепили и вошли в комнату агенты чека?

"О, да, она помнит. Сейчас она скажет... Неужели сказать?! Выдать?! подло... преступно и мерзко".

-- Имейте в виду,-- говорит вдруг Блондин, нарушая молчанье,-- мы уже знаем, кто вас в этот момент окружал. Показаньями пятерых предыдущих факт установлен точно. Ваш ответ только нам выяснит степень вашего участия в деле, которое так же для нас несомненно, как то, что я следователь Горст!

"Так это он, сам страшный Горст!"-- Елена тянется вновь за стаканом, и зубы нервно дрожат, выбивая дробь о стеклянные стенки.

"Нет, она ничего, ничего не будет скрывать... Да, рядом с ней сидел офицер Коваленский, но в его руках не было, нисколечко не было,-- ах, если бы вы захотели мне только поверить,-- никакого письма, никакого конверта. Она клянется в этом всем святым, дорогим, что только есть у людей на свете..."

-- Даже жизнью своею клянетесь?-- оборвал вдруг Блондин.

-- Ну, а кто же был рядом с Коваленским?

-- Рядом?

-- Да, рядом!

-- Рядом... Не было никого... а так немножечко дальше, шагах этак в двух, на подоконнике сидел этот, как его?.. Фиников.

-- Будто бы вы раньше его не встречали?-- смеется на этот раз уже Брюнетик.

-- О, клянуся вам богом: никогда, никогда его в жизни до этого раза нигде не встречала!..

-- Прекрасно. Что можете добавить еще?

-- Ничего.

-- Ничего?

-- Ничего.

Бесшумно несется перо по бумаге, спешит и спешит менуэтом по строчкам.

-- Слушайте!

Ну, да, она слушает -- но ничего не слышит и думает только: "Что ж дальше?"

-- Распишитесь!

Дрожащей рукою берет она ручку. Перо упирается. Ручка не пишет. Вместо коротенькой: Вальц, получилось клочкастое -- Вальу.

-- Посидите немного.

Блондин уплывает куда-то в боковую дверь, унося все бумаги.

Брюнетик, сверкнув перстеньком с бриллиантом,-- как это раньше она не заметила? -- достает портсигар с большой золотой монограммой.

Щелкнул небрежно:

-- Вы не курите?

-- Нет,-- соврала ему злобно Елена.

Как захотелось ей вскинуться быстрою кошкой, вцепиться Брюнетику в бритые щеки и... острыми ногтями... "Боже мой! -- как давно я не делала себе маникюр и даже не умывалась сегодня,-- подумала она вслед за этим.-- Воображаю, что я за рожа!.."

Тонкая синяя струйка ползет кверху спокойно и прямо. Брюнетик впился в папироску губами, а глазом косит ей на шейку.

-- Пожалуйте,-- вдруг распахнув разом дверь, ей кивает Блондин.

Снова холод по коже. Гусиные цыпки взъерошили руки. С испуганным взглядом, Елена послушно шагает за черным плечом Блондина в табачного цвета шелк золотистый портьеры. За ней впереди густо-синий, остриженный строгими стрелками кверху, готический кабинет. У окна стоит кто-то высокий, темнеющий тенью... Качнулся к столу -- и сел.

-- Хорошо, товарищ Горст, оставьте нас с ней одних на минуту и скажите товарищу Липшаевичу, что, пока я не позвоню, никого бы сюда не впускал. Никого,-- пусть так и скажет курьеру.

"Что он хочет?"-- мелькнуло брезгливой искрой в уме Елены.

А голос приятный, грудной, задушевный...

Горст вышел, защелкнулась дверь.

-- Я -- председатель здешней чека, Зудин, гражданка Вальц: вот кто я,-- говорит незнакомец. Но почему-то Елене не страшно. Будто кто-то давно ей знакомый, встретясь нежданно в дороге, пытается ей рассказать интересную повесть. Кубовый сумрак обоев кажется дальним провалом рядом с золотистым тускнеющим шелком оконных портьер. Рамы режут отчетливо стекла, будто их нет. Будто бы белая мгла улицы вместе с приятною гарью мотора

лезет свободно сюда, в кабинет. А за столом, заглушаемый снизу гудками и визгом трамвая, сидит незнакомый знакомец.

"О чем говорит он так долго?" -- Теперь Елена различает лицо у него: худое, белесое, с большими глазами. Тусклые усики, чахлая бородка светленьким клинышком. Плохо бритое горло стянуто воротом черной рубашки, а поверх ее черный пиджак.

"Должно быть, из рабочих,-- грезит Елена.-- Так вот он какой, этот... Зудин! Почему же казался он раньше, в рассказах знакомых, ей страшным? И зачем привели ее прямо к нему? Неужель так серьезно!.. Ах, да, это злополучное, страшное письмо!.. Да уж не подкинули ли они его сами?.. Чтобы всех их запутать для расстрела на выбор... Но о чем же он говорит? Ведь он говорит, этот Зудин!"

-- Вы должны рассказать, не таяся нисколько, не стесняясь меня, все подробно.

-- Что должна рассказать я?

-- То, что вам изложил: с кем из этих мужчин и когда были вы в близких сношениях?

Будто хлыстом по лицу. Краска взметнулась на щеки Елены.

-- Ни за что! Никогда! Как он смеет! Если она балерина...

И слезы прорвались могучим потоком и скачущим ливнем покрыли все мысли и чувства. Но будто большая гора размывается с сердца Елены этой слезливой рекою.

Где же графин? Никто не дает ей холодной воды. Зудин сидит, как сидел, неподвижно.

-- Вы не поняли меня, гражданка Вальц. Я вовсе не хотел вас оскорблять своими подозреньями или грязнить вашу честь, как честь женщины. Мне хочется знать вашу роль, вашу роль в этом деле, а не на сцене.

Ах, как быстро растет в его голосе жесткая нотка!

-- Вашу роль не на сцене, а роль женщины, которую вы играли, увы, среди этих мужчин. Политика очень жестокая вещь, гражданка балерина. В том письме, что нашли под ковром, возле стула, на котором вы сидели, говорилось об убийстве, о политическом убийстве наших ответственных товарищей. А в бумагах некоторых лиц, арестованных вместе с вами, при обыске, нынче под утро, нашли несколько писем... писем от вас... Я надеюсь, теперь вы поймете, зачем мне так нужно и должно знать ваш точный, правдивый, лишенный ложного стыда ответ на мой вопрос...

Но Елена молчала.

"Ах, как это жестоко. Утонченно жестоко! -- подумала она.-- И как это они уже все, все успели узнать?.. Мои письма?.. у кого же... они их забрали?.."

Но Зудин перестал уж смотреть на нее: обернулся к окну. Может быть, это и лучше. Не видеть глаз, говоря о подобных вещах. Почему ее не допрашивает женщина? А впрочем, нет, нет, не надо... лучше не женщина. Женщина этого не поймет.

-- Ах, как это ужасно! -- подумала вслух Елена.

-- Людям свойственны страсти, и все мы не пуритане. Поиски сердца могут быть часто бесплодны. Чего ж их стыдиться?! -- ободрил поласковей Зудин.-- Итак, не стесняйтесь меня: ваша тайна умрет здесь навеки, не встретясь с бумагой. Я нарочно велел закрыть все двери.

Как же ответить? Кто из них был ей близок?.. Ну, да, офицер Коваленский, но... это было давно-давно, в начале войны. Он ее провожал из театра, заехал к ней на квартиру... а потом, а потом... они долго не встречались. Он был на фронте... Теперь же... теперь? да, он был у нее как-то раз. У него на квартире она не бывала ни разу.

-- Кто еще?

-- Артист фарса Дарьяловский, он ведь уж был у вас на допросе. Отношенья по сцене роднят, и мы сами не смотрим на эти сближенья серьезно. То же самое этот... Гитанов... Он долго, долго домогался ее любви... Он такой... задушевный, сердечный, смешной... он хорошо зарабатывал также...

-- Еще?.. еще... как будто б в числе арестованных не было из таких никого.

-- А Фиников?

-- Фиников?! нет!.. говорю же вам: я только первый раз его повстречала. Нас познакомили здесь, у Гитанова. Он был приторно вежлив, но молчалив. Мы с ним почти ни о чем не говорили.

"Получала ли она от мужчин деньги?"

Снова краска и слезы к глазам.

-- Как? и это надо тоже вам знать?! Ничего, ничего нет святого, сокровенного даже для женской тайны?

"Получала ли она деньги?.."

-- Д-д-да... получала... немного... от всех... Ах, если бы вы знали, товарищ Зудин...

"Ах боже мой, что она говорит? Опомнись, Елена, какой он товарищ?"

-- Нет, нет, нет! -- кричит исступлено Елена кому-то.

-- Если бы вы только знали, товарищ Зудин, -- и слюни и слезы, все вместе, текут у Елены на грудь.-- Если б только вы знали всю жизнь балерины, когда ей с пятнадцати лет... уже приходится... да, да, приходится! -- этой традиции держится прочно балет,-- ей приходится... продавать свое тело грязным вспотевшим мужчинам!.. Милый Зудин!.. Зудин, товарищ!.. Нет, вы б не кинули мне в лицо комок грязи... Липкая жизнь... липкая жизнь... нас залапала грязью, зловонной, вонючей, и нет нам спасенья, погибшим и гадким!.. Если б... если б дали мне возможность заработать... кусочек, честный кусочек... разве б я стала?!.. Ах, что говорить вам!.. Ведь вы не знаете бездны, всей бездны паденья!! Ведь меня вызвал к себе Гитанов, чтоб свести вот с этим, как его?-- Финиковым!.. Он сказал: будут деньги... хорошие деньги!.. А ведь я голодала! Да!.. Голодала!.. Продала гардероб!.. Вот осталось:

манто, муфта, три платья... Милый... родной мой, товва-а-рищ Зудин!.. Ведь и я была гимназисткой... пять классов!.. Немножечко жизни... Не рабства, а жизни... Честной жизни... кусочка... прошу... я у вас!.. Я согласна, я жажду работать!.. Разве б я стала себя продавать?! Проституточка! -- вот мне оценка!..

С клокочущим всхлипом, вся намокшая горем, бессильно сползла Елена прямо на пол. Шарф упал. Валялось и манто. Кудряшки развились и прилипли к вискам. И только яркость каштановых прядей и розовость пухлого ушка кричали в серое далекое безучастное небо, туда, за прозрачные окна этого синючего готического кабинета, что здесь плачет женщина, и что она глубоко несчастна.

И так неожиданно жалкая ручонка Елены ощутила твердое пожатье.

-- Полно, товарищ Вальц, встаньте, оправьтесь и успокойтесь!

Это говорил Зудин. И как жадно-жадно хотелось ей слушать его милый голос.

-- Наша борьба, в конечном счете, и есть ведь борьба за счастье всех обездоленных капиталистическим рабством, а значит -- за счастье таких, как и вы... Поднимитесь и успокойтесь. А если хотите, так вот, приходите сюда... хотя б послезавтра... в час дня. Я вам помогу, как товарищу... Ну, а пока оправьтесь, оденьтесь и идите,-- вы свободны.

Зудин нажал кнопку стола, и за дверью раздался громкий, трескучий, звонок.

II

Носится в воздухе солнце. Ярчит косяк киноварью. Бьет и ликует и пляшет в вальсах веселых пылинок. Нежно крадется к щеке и мягкою теплою лапкой ласкает опушку ресниц. Сенью весенней, снующим бесшумьем сыплется солнышко сном.

-- Кто такой?.. Вальц?.. По какому делу?.. Я просил?.. не помню. Хорошо, пропустите!

Страшно хочется спать. Руки падают. Глаза слипаются, а мысли не держатся. Надо бы съездить домой и проспаться. А вечером -- снова опять за работу.

-- Позовите товарища Кацмана!.. Вальц? пусть пока обождет!

-- Товарищ Пластов, товарищ Пластов! На минутку! Получены ли вами сведения от Дынина, относительно этого -- как его?..-- морского офицера, что ездил в Финляндию?.. Нет?.. Очень странно!.. Запросите вторично и срочно... Засада, конечно, не снята?.. Прекрасно... Пусть летчика француза перешлют как можно скорее сюда для допроса... Уже невозможно?.. Как жаль!.. Ну, так во всяком случае последите сами, чтобы моряк у нас не улизнул...

-- Вот что, Абрам!..

... Вы, товарищ Пластов, больше мне не нужны, а завтра утром доложите мне о моряке поподробней.

... Вот что, Абрам!.. затвори-ка дверь поплотней... Ну, как дела?.. Не нашел англичан?.. Вот хитрейшие Були!.. Ну, да ладно, надолго не спрячутся: где-нибудь вынырнут... Что сообщает Планшетт?.. Как его фамилия?.. Мистер Хеккей?.. Мистер Хеккей!.. Превосходно! Долой миндали -- это не Локкарт: лишь бы попался!.. Вот что еще, дружище Абрам... подал мне Павлов свое заключенье по делу о карточном притоне. Там он говорит об освобождении такого кита, как Бочаркин. Мне что-то не совсем понятно. Разберись-ка ты в этом деле, как будто бы так, между прочим... Вот и все!.. Я вернуся, наверное, часам к шести. Если Горст отоспался, пусть к этому времени приготовит мне дело Квашниных. Я, пожалуй, прощупаю младшего лично... Да!.. а тебе не докладывал Дагнис?.. Ну, как он там с Финиковым?.. Ликвидирован? когда?.. нынче на рассвете?.. Хорошо. Составь телеграмму в Москву за моей подписью. Отправь только срочно... Ну, пока больше ничего... Так о Бочаркине, пожалуйста, выясни. Понял меня?.. Хорошо... до свиданья, до вечера!..

... Алло, барышня: 22-48...

... Погодите, товарищ! Дайте кончить по телефону, тогда и впускайте!..

... 22-48. Спасибо.-- Это вы, товарищ Игнатьев?-- Это я, Зудин. Доброго здоровья! Спасибо... Прекрасно... Я хотел сообщить вам, что все так и подтвердилось, как мы оба с вами предполагали... Ну, конечно: от него, от Савинкова! Нить нашли через бабу. Хитрая была путаница!.. Сегодня утром убили. Да?.. да?.. хорошо!.. Ну, пока до свиданья!.. Вечером буду. А днем можно звонить по домашнему. Решил отоспаться. Адье!

Опустился устало на стул. Глаза закрываются сами. А тут еще солнце! Как будто весеннее солнце! Бьет и слепит, и играет, и лезет назойливым криком в окошки. Столбами до самых углов расфеерило светлую пыль. Сквозь ее золотистый туман ничего не видать. А на липких ресницах цветут лучеперые радуги.

-- Готова ль машина?-- я иду... Ах, да... Вальц.-- Проси!

Словно картинка: в яркой лилово-коричневой шотландке. Уж очень крикливо, расписно. Да еще в лучах солнца! В ореоле сухих столбов пыли. Локоны -- будто огни.

-- Садитесь!.. Какой прелестный день, не правда ль?.. Вы простите меня, я так утомился... Вы хотите работы?.. Что ж?.. хорошо, хорошо...

"Как досадно, что нет здесь спускных штор. Непременно к весне надо будет достать, а то красные пятна в глазах зеленеют от белой бумаги".

-- Хорошо, мы дадим вам работу... Сумеете вести алфавит? Вот и прекрасно!

"Фу, черррт, какой бодрый звонок, словно душ".

-- Вот что, товарищ Липшаевич... Надо зачислить товарища Вальц на службу переписчицей. Попробуем дать ей веденье алфавитов всех оконченных дел: нумерация дел и занесенье фамилий. Снегиреву можно переместить на текущие дела к Шаленко, будет прекрасно! -- Где посадить? Посадить можно здесь, в серенькой боковой комнатке.

Пускай будет архив... на отскочке. Ну-с, вот и все! -- А теперь я вас оставлю. Вы, товарищ, введите ее в курс работы. Так значит приведенье в порядок архива.-- Ну-с, до свиданья! В добрый час!

Улетел -- как циклон, разметав и скрутив золотые снопы солнце-пыли. Лишь внизу загудела машина и... ушла.

И этот кабинет? Он вовсе не похож на подземелье Великого Инквизитора. Ай да солнце! Ай да солнце! Янтарной смородиной брызжет...

-- Хорошо, пойдемте! Вы мне покажете?.. Ваша фамилия Липшаевич?.. товарищ Липшаевич?.. Меня зовут: Елена Валентиновна Вальц. Ах, впрочем, вы ведь все знаете!..

***

Мотор ныряет в ухабах -- хочет выбросить вон. Сбило шапку, и портфель расстегнуло. По бокам мельтешат, словно изгородь, зайчики окон, окошек и стеклышек. Капает с крыш. Тротуары осклизли. А тени -- словно лиловые доски: нарисовать -- не поверишь. И даже на лицах прохожих как будто фиалковый цвет, как будто вуальки в фиалках. А как тепло! Как тепло! Даже лед на реке побурел.

Остановились у серого дома в сине-багровой тени.

-- К шести! -- и отхлопнулся дверцей. Бегом вверх по освещенным в окна с двора ступеням. Хрупкий звонок.

-- Это я, Лиза!.. Знаешь, я только поспать. Нет ни минутки. Башка расклеилась. На обед -- пятнадцать минут. Когда соберешь -- разбуди! Что на сегодня?.. горох?.. превосходно!.. Ерунда. Сойдет и без масла... Ну, Лиза, уволь: поговорим в другой раз. Дай отоспаться.

"Эка, сегодня какая весна! В спальне нет места от солнца. Ну, ничего: пусть полощет. Лишь бы стащить сапоги".

-- Нет, я легонько: одеяла не замараю... Митя, голубчик, шел бы ты с Машей в столовую. Я на минуту посплю... Лизанька, позови к себе Машу; только на минутку; а засну, пускай ерундят,-- хоть из пушек. Ну, ладно, целуйте. Только не сильно давите...-- Прохудилась ботинка?-- ладно достану новые... к Пасхе...

-- Тс-с-с!

-- Спит.

-- Митенька, штору спусти. Иди с книжкой в столовую: дай папе поспать. Папа очень много работал... Машу возьми: позабавь ее какой-нибудь картинкой. А я пока накрою на стол. Скоро поспеет обед.

Медленно, четко чеканят часы -- частокол уходящих мгновений.

Медленным шипом шуршат, дребезжа, отбивая удары.

Вот уже -- три.

-- Леша, вставай!

-- А?.. кто... потом... уезжайте!

-- Леша? Заспался. Вставай: пообедаем! Маша, тяни отца за ногу. Митя, не прыгай!..

"Как неохота подняться! Бр-р-р... дрожь!.."

-- Что-то прохладно. Иль это со сна?.. Ну, побредем, побредем.

-- Ну, и проказница Машка! -- рада стащить мою ложку.

-- Э! Да у нас словно праздник: суп будто с мясом!

-- Знаешь, я побоялась, как бы конина не испортилась за окном. Вон как сегодня тепло: все снега растворило, с крыш так и льет.

-- Так ты ее всю и сварила? Эх, Лизок, сверх пайка просить неудобно. Ну, делать нечего, давай -- поедим. А горчицы к ней нет?

-- Ишь буржуй!

-- Ну, и буржуй?

-- Когда ж на заводе ел раньше горчицу?!

-- Тогда и без нее было горько!

-- А теперь засластило?

-- Ну, а все же не так.

-- Так, не так, а привольнее было: масло в любой лавчонке. А теперь вот...

-- Ну, пошла, а еще -- коммунистка!

-- Что ж, коммунистка? Идея -- идеей. Я не ворчу: все понимаю... Только, Леша, голубчик, ты не сердись! Нельзя ж ведь совсем без жиров! А ведь Митя и Маша растут. Посмотри, как они бледны: кожа да кости. Так ли им нужно питаться? Сами хоть мы из нужды, а в их годы все же куда лучше ели!.. Вот и болит мое сердце. Наши ведь дети! Ну, а к тебе приступиться нельзя.

-- Что ж, тебе сразу молочные реки?!

-- Вот как с тобой говорить тяжело!

-- Митя, не балуйся вилкой!

-- Реки не реки, а мог бы к Игнатьеву позвонить. Просто бы даже к секретарю. Эки, подумаешь, страсти! Все получают сверх нормы. Да и сам посуди: на кого сам ты теперь стал похож? В ссылке и то был свежее. Да и смешно, в самом деле: работать, как вол,-- ночь не в ночь,-- а питаться, как воробей -- чечевицей, А туда ж диктатура пролетариата! Как бы с вашего горохового киселя не сделалась бы она у вас кисельной!

-- Ишь, каламбурка какая! Ты утри-ка Машутке вон нос, а то она его диктатурой твоей заклеила. А по существу, вся твоя прыть -- ерунда! Не одни мы этак живем. Сотни тысяч и того не видят. Что же скажут они, коли ты пироги

будешь маслить? И то по заводам ворчат: комиссарам, как у бога на печке! -- В городе нет ни полена, а у нас?..

-- Разве с тобой сговоришь? Мыла ни кусочка два месяца нет: все вон ходим в нестиранном. Хоть с фунт бы достал, если б слушал...

-- Если б слушал, если б слушал... Вон, сегодня приперлась буржуйка одна, балерина. Ведь себя за кусок первому встречному была рада... Чуть не влипла в один шпионажный кружок: на волосок была от расстрела. Не успела сойтись. И ведь только за корочку хлеба, за гроши. Дал ей место у себя: сфилантропил... Чего смотришь?.. Серьезно!

-- Ну, смотри, как бы она там вас не обошла.

-- Не объедет... Митька, пострел, принеси-ка папироску из кармана пиджака! А впрочем, я сам...

Солнце свернуло с кровати лучи и полезло походом на стенку, оконным кося переплетом, в медный тумпак перекрасив обои.

-- Кто же это с телефона снял трубку? Эх, ребятишки, наказанье мне с вами: кто-нибудь мог позвонить на квартиру, а звонка не слыхать.

-- Не сердись, Леша: это я удружила, я сняла. Надо ж дать человеку покой... А самоварчик поставить?

-- Ставь. Только знаешь, я еще подремлю: ночью много работы. А как машина придет, ты меня разбуди... Ах, Машутка, Машутка! Ты опять забралась? Вон, на валенке протерла уж дырку, а сама без чулок...

-- Я давно ведь тебе говорила, что у ребят нет чулок.

-- Да, да, да... Ну, как же быть, Лиза? Вот, разрушим блокаду... Э-е-ах!..

-- Ну, усни: я потом разбужу.

-- Мамочка, что такое блокада?

-- Тише! Папа спит.

Папа спит, а детишки тихонько залезли к окошку, чтоб смотреть, как тускнеющий шар заползает за крышу, и розово-красно вокруг него зацвели небеса. Маленький, крошечный двор грязным дном кумачево зарделся весь отсветом солнца, от улыбки прощальной его, скользнувшей со стен. Дует от форточки. Ветер усилился: щиплет из облачков перышки по небу. Тоненьким голосом в кухонке песню запел самовар.

Небо темнеет. И в темени робко мигнула дрожащая звездочка, словно алмазинка-капелька на кончике тоненькой ниточки нежно и зябко тревожится, как бы ей вниз не упасть: к Мите и Маше, разинувшим ротики перед запотевшим окном.

***

Вальц собрала все бумаги, оделась в манто и стала спускаться.

На площадке ее караулил Липшаевич.

-- Нам не по пути? Где живете?-- на Капитанской? Да ведь это совсем от меня недалеко. Если я не стесню?..

И пошли, колыхаясь вместе, по скользким панелям в свежеющий вечер. Играя сверкающим перстнем, в больших галифе и в венгерках, щеголяя покроем пальто, Липшаевич завел разговор о театрах, о драме, балете. На каком-то углу, когда Вальц поскользнулась, взял ее под руку и с тех пор не отпускал до самого дома, тяжело дыша прямо ей в ухо; а глазки его маслянели. Наконец, у ворот распростились, и Вальц быстролетно юркнула в подъезд, пробегла загрязненным двором, все любуясь зеленеющей звездочкой неба. По знакомым ступенькам к себе поднялась, постучала и на шамканье туфель ответила бодро:

-- Это я!

-- А у вас был давнишний знакомый, -- ей сказала хозяйка, пыхтя папиросой впотьмах.

-- Был знакомый?! -- и мгновенно умчалася яркая сказка пролетевшего дня.

-- Тот, что часто бывал прошлый год. И оставил пакет и письмо. Интересовался ужасно о вас: я ему все рассказала.

Быстро выхватив ключ у хозяйки, Вальц, не слушая, мчится к себе. Там, действительно, на столе большая посылка в бумаге и лиловый конверт. Торопливо зажегши свечу, Вальц дрожащей рукой рвет бечевку посылки.

"Боже мой, шоколад! Никак целых полпуда!"

Режется шпилькой конверт:

"Моя милая Нелли!

Я приехал случайно сюда, привезя кое-что для вас. Я не мог, разумеется, так быстро забыть, что моя кошечка любит сосать шоколад и как долго пришлось ей скучать без него. Но сейчас от хозяйки узнал я, что зверек мой ушел поступать прямо к тиграм на службу. Что ж? В добрый час!

Если это серьезно и бесповоротно,-- пусть последнею памятью здесь обо мне вам останется мой шоколад.

Если ж это опять мимолетный каприз, такой дерзкий и очень опасный, и моя кошечка по-прежнему осталась моим игривым беспечным зверьком,-- тогда (в тот момент, как читаете вы этот лист, я слежу со двора незаметно за вашим окном) вы можете мне сообщить ваш ответ. Вы должны перенесть ваш огонь со стола на окно и тотчас задуть, после этого тихо пройти к черной двери, чтоб мне отпереть. Хозяйка не должна знать о приходе моем ничего. До свиданья. Я жду: или -- или; или с тиграми против меня, иль со мной, вашим нежным

Эдвардом.

P. S. Промедленья с ответом ожидать я не буду и быстро уйду навсегда.

Э. X."

Листик валится из ручек Вальц.

Как же быть? Быстро так? За окном -- Эдвард, бритый, чистый, опрятный, с учтивой и нежной заботой. На столе перед ней ведь его шоколад. Как же быть? Сделать знак?.. Ну, а там, в кабинете большом, рыже-синем,-- он, властитель ее новых дум, такой чуткий к ней, страшный всем Зудин. Как же быть?

"Промедленья с ответом ожидать я не буду..."

Ах, пускай, будь, что будет. Ведь она не позволит себе ничего. Так нельзя же теперь из-за этого, в самом деле, отказать себе даже в праве перемолвиться словом с Эдвардом, оказаться такой неучтивой, неблагодарной.

"Милый, нежный Эдвард! Он рискует собой у нее под окном, а она?!"

Мотыльковый полет огоньковой свечи со стола на окно. Две секунды -- и сразу все стало темно.

III

Снег валит. Оттепель кончилась. Небо набухло холодною ватою. Мохнатыми пухлыми хлопьями плюхает снег на панель. У подъезда скрежещут железной лопатою, счищая намерзший капель. Смолк оркестр. Сквозь вуаль снегопада черные толпы проходят куда-то, упрямо месят сотнями ног рыхлый снег. Спотыкаясь, уходят все прямо и прямо...

Флаги нависли линялыми тряпками. Кроет их мокро лепными охапками белою лапой метель.

-- В чем же цель?-- теплым паром струится доверчивый робкий вопросик.

Но холодные фразы ответа, как снежные хлопья, хлюпают жар погасить:

-- Как, в чем цель? Победить!

-- Ну, а дальше?

-- "Дальше" будет не скоро.

-- Значит враги так сильны?

-- А вы знаете, кто наши враги?

Вальц чувствует ясно в вопросе насмешку и обиженно шепчет:

-- Белогвардейцы, заводчики, помещики, финны, поляки...

-- Чепуха, все это мелочь! Наши враги куда посерьезней!

-- Посерьезней? Значит это не фраза, что ваша задача завоевать целый мир?

И опять не ответ, а загадка:

-- А что вы считаете миром?

-- Географию я не забыла: Францию, Англию, Германию, Америку, Китай,-- ну, словом, все страны!

Но он положительно нынче не в духе:

-- Если и их завоюем, то все же не будем всем миром.

Вальц неловко -- она умолкает. Но снова и снова горячие мысли одеваются в круглое слово:

-- А хорошо было бы сознавать, что мы целый мир покорили, и что мы -- Россия!

-- Чепуха, нам таких завоеваний не надо!

-- Так каких же, каких, Алексей Иванович?!

Зудин глядит на нее и молчит. Стоит ли заниматься кустарной пропагандой? Если уж говорить, то говорить об этом, как прежде -- в глухой полутемной каморке, перед вереницей грязных лиц, пристальных глаз, ртов раскрытых прямодушных, серьезных рабочих таких же, как он, как когда-то бывало. То -- свой брат: нутром понимает, с полслова.

А это что?.. И он удивленно глядит на изящно одетую неженку-женщину, рядом с ним торопливо скользящую среди хлопьев, мостящих панель. Темные глазки у Вальц потонули в нависших ресницах. Только губки, задорно раскрыв свой бутончик, показали тычинковый ряд лепестками блестящих жасминовых зубок. Вся она -- нежная, теплая барынька, теплотою манящая, Вальц в манто, Вальц в духах.

-- Вы желаете знать, где же главные наши враги? Я отвечу: в нас самих!

Он встречает в ответ чуть скользящий вопросом, шаловливо влекущий, уверенный в чем-то своем, взгляд ее шоколадных, ласкающих глаз.

-- Да, в нас самих! -- раздражается Зудин.-- В этой внутренней тяге к прошлому: к прошлому быту, к прошлым тряпкам, к прошлым привычкам. Вот где наши враги!.. Ах, если б люди смогли взглянуть на мир по-новому, то и мир стал бы новым и лучшим.

-- Вы говорите, как будто из евангелия...

-- Евангелие здесь ни при чем. Мы помощи с неба не ожидаем! Сами мы боги!

Его слова, как бичи, раздраженно стегают что-то нежное, хрупкое, милое, и Зудину хочется, мучительно хочется бить, бичевать, хлыстовать своим словом, упругим и резким.

-- Вы сердитесь?-- говорит она мягко, покорно. И чувствует Зудин, как ее теплая ручка прикоснулась на одно мгновенье к его холодной руке.

-- Зачем вы сердитесь, Алексей Иванович? Ну, пускай я неразвитая, глупая... Ведь поэтому-то вас я и спрашиваю...

Зудину становится стыдно. Чего, в самом деле, он так разошелся? Как это глупо! Кому и за что он мстит? Что его бесит?

И чувствует Зудин, как родное, какое-то смутное чувство где-то теплится жарко в его тайниках. А в то же время мучительно стыдно и себя, и этого чувства, и всех встречных, которые смотрят на него, как он под хлопьями снега

шагает по сумрачной улице рядом с женщиной, боязливо скользящей на цыпочках, изящненькой Вальц, Вальц в манто, Вальц в духах.

"Тогда не нужно было с манифестации возвращаться с ней на службу совместно, с самого начала. А ведь пошел, и пошел так охотно. А теперь голоса подымают предрассудки, ложный стыд", -- язвит над собой сам Зудин.

-- Мне показалось,-- говорит ему Вальц,-- что и в евангелии и в ваших словах звучит одинаковая мысль о несовершенстве существа самого человека: враг -- внутри. Как же тогда достичь самосовершенства?!

"А совсем ведь неглупая баба: так в точку и бьет",-- изумляется Зудин.

-- Совершенства достигнем мы при новом лишь строе, когда уничтожим гнет рабства и эксплуатации капиталистов.

-- Ну, а пока?

-- Что пока?

-- Как же быть с нашим внутренним врагом?

-- У нас он весь уже сходит на нет, а в ком сидит -- мы его вышибаем,-- и Зудин, порывисто сжавши кулак, рассекает им воздух.

Вальц умолкла, как будто согнувшись в раздумьи.

-- Мне не верится в эту возможность! -- упрямо подернув головкой, вдруг чеканит она.-- Если б все люди, Алексей Иванович, говорили бы друг другу честно правду в глаза, они все и давно бы сознались, что это интимное чувство себялюбия и склонности к разным удобным... ну, привычками там, что ли, доставшимся нам по наследству от тысячи предков,-- словом вся эта милая культура, комфорт, который вы презираете... Не качайте головой: я чувствую, как вы его презираете...-- Вся эта культура -- да ведь это же часть нашего Я, нашего тела, и убить ее... нет, невозможно!.. Вот почему...-- она даже остановилась и лучи своих взглядов закинула ласково прямо до дна его глаз,-- я преклоняюсь перед вами, перед вашей святой высотой, но сама в коммунизм ваш не верю... нет, не верю.

Взор ее медленно сполз к тротуару,

-- Разве себе самому, на духу, вы не сознаетесь, что есть и у вас личные, лично свои интересы, личные запросы, личные выгоды? И разве не ими так красится жизнь? И мне даже жалко было бы наблюдать человека, у которого всего этого не было б. Так получилось бы нечто вроде фальшивой пустышки; одна скорлупа, а ядра-то и нет. А ведь это ядро и есть святая-святых человека: и у меня и у вас... Ну, вот, например, ваша семья,-- в ее голосе запела холодная нотка. -- Ваша жена, Елизавета Васильевна, милейшая женщина, ваши дети!.. ну, разве все это не ваши узколичные привязанности, и разве может быть как-нибудь иначе? Эта частная собственность гораздо сильнее внутри нас, чем то кажется нам, но почему-то считается стыдным в этом сознаться. Ведь не станете ж вы здесь меня уверять, что вам было б совсем безразлично, если бы какой-нибудь встречный хулиган насильно обменил вашу каракулевую шапку на свой засаленный малахай?

-- Потребительную частную собственность мы не отрицаем,-- возразил, смущаясь, Зудин, и стало ему неприятно, что Вальц задела имя жены. Коряво набухло сердце уже пережеванной мыслью: почему это женщины так быстро дружат между собою? Его Лиза и Вальц,-- что между ними общего? Но с тех пор как однажды случайно принесла ему Вальц на квартиру бумагу со службы, она очень частенько заходит теперь к жене вечерами, когда он на службе. Что-то тянет Вальц к Лизе, да и Лиза вся стала другою: какая-то чуждая струнка все чаще и чаще звучит в ее мыслях.-- А Вальц? Вот идет она рядом с ним, вся цветущая, в пушистом манто, в тончайших ажурных чулочках, с каким-то немым ароматом, который так тянет Зудина, тянет... И опять ему становится не по себе, что он с ней на виду. Вот придется сейчас подыматься на службу по лестнице мимо десятка внимательных глаз, почтительно льстящих навстречу, лукаво-насмешливых взад. И уж сочинят непременно...

А впереди вот уж знакомый сереющий угол, безлюдно-боязливая панель. У входа часовой, а у ворот -- другой... Зудин кривится. А впрочем -- о, счастье! -- у подъезда машина!

-- Елена Валентиновна, передайте-ка там, наверху, что я проехал на минутку к себе домой пообедать и сейчас же вернусь...

-- Пантелеев, поедем домой!

Весь залепленный мокнущим снегом, шофер Пантелеев нажимает грушу рожка, и на рев его гулкий из подъезда бежит, спотыкаясь, помощник в таком же затертом тулупе, в меховой растрепавшейся шапке с ушами и в кожаных черных претолстых перчатках. Рукавом снег очищен с сиденья. Зудин влез. Помощник заводит мотор. Нервной дрожью забилось сердце машины. Дверцы щелкают. Быстрый толчок -- понеслись.

Снег валит перекрестными нитями хлопьев, бьет в лицо, залепляет глаза, а в мозгу мысль за мыслью бунтующим роем вперегонку несутся, как хлопья, налету вырастая из ниоткуда, налету уходя в никуда.

-- Подождите меня: я минут через двадцать обратно.

"Батюшки-светы, Лиза как разодета: в лучшее платье; белокурые локоны взбиты, как сливки".

-- Это по случаю чего?

Смеется криво:

-- По случаю победы!

-- И то правда. А я, знаешь, как был с недосыпу, так со службы с утра и поперся в народ. Прошел вместе с центральным районом аж до площади Зарев. Были все наши. На торжественное заседание совета, знаешь, я не пошел: чересчур много спешной работы; и вот прямо оттуда вместе с Вальц воротился к себе, а сюда прикатил пообедать. Машина внизу ожидает.

-- Знаешь, Леша, мы с Вальцей вчера допоздна просидели. Оставляла ее ночевать, да она застеснялась. Она, право же, очень сердечная женщина!

Суетясь, говорит развеселая, а сама громыхает тарелками. Митя и Маша уже взгромоздились к отцу на колени.

"Ба, да у них перепачканы ротики".

-- В чем это?

-- Папа, нам тетя дала шоколадку! -- восторженно звенькает Митя, а Маша, игриво щурясь, распялилась ртом, в котором нежно тает огромный кусок шоколада.

Лиза вспыхнула ярким румянцем. Под руками рассыпались ложки.

-- Ты не сердишься, Леша? Елена Валентиновна такая душевная, добрая... Она притащила полно нам гостинцев: фунта с два, почитай, шоколаду -- настоящего, заграничного,-- попробуй-ка! -- детишкам. Им же по паре отличнейших крепких чулок фильдекосовых, длинных... ты только взгляни... и, знаешь ли, мне... (она виновато потупилась в скатерть). Мне так было неловко, но я не смогла отказаться: она ведь всерьез обиделась,-- мне она подарила две пары шелковых тонких, отличных чулок... Посмотри!

И Лиза стыдливо, слегка полыхая румянцем, отступает назад, приподымая тяжелый подол, открывает кокетливо затянутую в прозрачный коричневый шелк упругую ногу. И стремительно бросилась, как бы вдруг застыдясь, к мужу грузно на шею.

-- Как неудобно! -- коробится Зудин.-- Да, неудобно, неловко. Ведь она, знаешь сама, моя подчиненная. Лучше бы ты, Лиза, ничего не брала... Пахнет взяткой! -- даже брезгливо рванулся.

-- Что ты, Леша, такие слова? Как тебе это, право, не стыдно, как не стыдно? Ну, взгляни-ка мне прямо в глаза и скажи: Лизочка, прости, мне уж стыдно!.. Ты молчишь? Так сам посуди: Вальц -- и взятка! За что? Для чего? Значит дружбу нельзя заводить с тем, кто службой тебе подчинен? Перекинуться словом нельзя? Или ты думаешь: я не отказывалась? Но она все твердит: вы поймите ж, что я балерина, артистка! У меня, дескать, этакой шелковой завали, старого хламу, ненадеванных даже вещей -- сундуки поостались: вот теперь я служу, ну куда же мне всю эту рухлядь?! Раньше я продавала, неужели же теперь вы стыдитесь взять эту мелочь на память?

-- Хороша мелочь?! Сколько стоит все это?

-- Леша, не покупала она это все: так сама уверяет. Чулок у нее, еще с мирного времени, прямо депо, сама хвастает. Две пары детских чулок -- это вещи замужней сестры, у которой есть девочка, но они уж давно за границей. Шоколад, детское лакомство,-- она говорит,-- ей привез там его какой-то знакомый артист, что на днях возвратился с армейскою труппою из Архангельска. Сколько там, она уверяет, этого добра взяли мы апосля англичан: всех, кого надо, не надо, наделили им вдоволь. Сам актер то, знакомый ее, привез почти с пуд. Неужели же за всю эту мелочь, за ерунду ты осердишься? Сердишься, Леша? Но ведь я же предлагала за все заплатить ей, а она наотрез отказалась и обиделась даже, аж вспыхнула вся.

-- Она гордая, чай, не в тебя! -- кинул Зудин.

-- Леша, Леша, так вот ты какой?! Вот твоя вся любовь? Ведь другому бы стало приятней, что жена получила подарок, а ребята обулися в кои-то веки да отведали сласти. А ты?! -- Машка, Митька, швырните отцу шоколад! Ему жалко: пускай отымает. Как собака в стогу,-- ни себе и ни людям!

Митя угрюмо нахохлился, медленно вытянул ручку и положил свой откусанный ломтик на стол, а Машутка вся вмиг налилась, покраснела и раскатистым ревом навзрыд раскидала навислость молчанья. Из ее округленно раскрытого ротика плыли вниз шоколадные слюнки, а на лобике выступил пот.

-- Деточка, милочка, дочка, перестань, моя радость! -- кинулся Зудин. Быстро взбросил на руки, крепко прижал и потряхивал молча, забегав порывисто взад и вперед. Нежно хлопал дочурку по плечику, а лицо самого так болезненно сжалось, как будто бы детское горе, липко пачкая льнущим ротиком ворот его пиджака сладко-горьким, шоколадно слезливым потоком, проедалось мучительно в самое сердце.

-- Митя, забирай шоколад, ешь его на здоровье!.. Причем тут дети?.. Дети тут ни причем! -- бормотал раздраженно, покуда жена, злобно хмурясь, разливала в тарелки дымящийся суп.

-- Значит нельзя по-товарищески взять у подруги детишкам гостинца,-- огрызнулась она.

-- "По-товарищески"? -- протянул, насмехаясь, Зудин.-- С каких это пор она стала тебе вдруг товарищ?

-- Да с тех пор, как стала служить у тебя в чрезвычайке! -- быстро резнула жена, и на стол покатилась вилка. Окрыленная ловким ответом, подъязвила.-- Иль туда принимают прохвостов?!

Усадивши дочурку на стул с собой рядом, как кончились всхлипы, и погладивши молча грустящего Митю, Зудин стал торопливо глотать, обжигаясь, обед, не глядя на жену. Та в ответ громко чавкала ртом. После супа съев каши без масла и соли, Зудин быстро поднялся. Дверь на кухню открыв, отыскал на столе фарфоровый чайник с синеющей фирмой "Гранд-Отель" и с отшибленным носом. Потянул из него в три глотка тепловатого цикорного чаю, утерся, задумчивым взглядом скользнув на ползущих плитой тараканов. А потом, не взглянув на жену, машинально оделся в передней, хлопнул дверью и выскочил вниз.

Только здесь он заметил, что снег перестал, и спускались мутные сумерки в город. Одиноко кой-где улыбались огни.

Фонарем прорезая стремительную мглу впереди, он качался в моторе, и хотелось молчать и не думать, наслаждаясь дымком папиросы. Но какая-то злая, тупая досада саднила по сердцу. Что-то, где-то, но было не так. Что и где -- сам не знал он.

В самом деле: детишкам кто-то дал шоколад. Разве донышком сердца не отрадно за них? Как светлели их лица, как цвели их глазенки восторгом! Жена получила чулки от подруги в подарок.

"Я, пожалуй бы, не взял,-- сравнил себя Зудин, -- но она?!"

Сколько долгих мучительных лет жили, бились они в нищете: безработный, в подпольи, в Сибири! Сколько горя и нужд натерпелись они, так упрямо борясь за идеи рабочего счастья!.. Разве Лиза, его дорогая жена, не была ему верной опорой, бескорыстной всегда, молчаливой? Коль теперь и позарилась вдруг на подарок и в знак дружбы взяла пустячок, что так бабьи сердца утешают... "Бабы все, как одна",-- пронеслось в уме у него,-- почему обошелся он с ней этак грубо, сурово, жестоко? А хотел "быть всегда таким чутким"-- сам насмешечкой кинулся Зудин.

Ему вспомнилась Лиза, как она отступила пред ним, приседая, назад, поднявши стыдливо тяжелый подол, чтоб похвастать перед мужем обновкой.

"А туда ж, расфуфырилась вся: с суконным рылом -- в калашный ряд, -- подумал он о ней уж не злобно.-- Ну, а все же пролетарскую марку не выдержала: поманили чулочком -- и кинулась. Видно бабы-то все на один покрой".

И досадливо что-то скребнуло по сердцу. Он представил себе, как жена уже тащит с ноги этот самый хрустящий прозрачный чулок. Зудин лег на кровать, а она, с краю сидя в нижней сорочке, снимает чулок. Скучные, желтые пряди волос бесцветной мочалкой упали, закрыв сероглазье лица и тени грубеющих плеч. Пахнет потом. По стенке спускается клоп.

Передернулся Зудин и швырнул папиросой. Он зло и досадливо вспомнил, как жена ядовито отделалась фразой:

-- Ты в чека принимаешь прохвостов!

"Он?!.. Прохвостов?!"

Но мотор, будто взнузданный, мягко шипя, подкатился к крыльцу с часовым.

"Ну, а Вальц?" -- думал Зудин, не спеша поднимаясь широкою лестницей кверху. Одинокая электрическая лампочка освещала убого грязный мрамор ступеней и засохшую пыльную пальму в углу на просторной площадке, стерегущую ворох окурков.

"Ну, а Вальц? Зачем она все это сделала?"

У уборщицы, старой Агафьи, Зудин взял ключ и отпер им свой кабинет.

-- Кто сегодня дежурит? -- спросил он.

-- А энта барынька, как ее?.. Вальс!

Зудин хмуро прошел, ярким светом наполнил потолочную люстру, задернул портьеры синеющих исчерна окон и сел у стола.

Обои казались теперь блекло-сизыми, дикого цвета, а портьеры свисали и никли золотисто-янтарными, теплыми пятнами, оттеняя любовно темно-рыжие стрелы дубовых шпалер, заостренные готикой кверху, в резной потолок, весь веселый и теплый от люстры.

Перерыл Зудин несколько папок и, выбрав какое-то толстое дело, брови сдвинул и, готикой стрелок наморщив теплеющий лоб, весь ушел в перелист и вниманье.

Мягким, матовым светом от ламп ласкались: бумаги, обои, папки и ворох различных вещей, в беспорядке раскинутых кем-то на полу, по углам. Там беремя откуда-то присланных шпаг и винтовок, там вязанки бумаг, связки писем, оставленных возле больших чемоданов, и с десяток уже запыленных бутылок конфискованных вин.

Зудин долго сидел, шелестя, занося на бумагу пометки, а потом, позевнув, потянулся и встал, молчаливо понурясь.

Он просто не помнит, чтоб бывало ему беспричинно так грустно, как теперь: будто кто-то куда-то уехал, самому ль надо ехать куда-то далеко-далеко, и не хочется ехать. И вот на каком-то глухом, захолустном фольварке, в чьем-то кинутом замке, на фронте он оставлен для связи и должен скоротать одинокий солдатский ночлег.

"Я устал,-- он подумал,-- хорошо б отдохнуть". Скоро будет весна. Что же, можно будет, пожалуй, взять отпуск да и махнуть как-нибудь в деревушку, где пахнет травою, соломой и курами, где в тенистой прохладной клети можно здорово спать на широких крестьянских подушках, еле-еле внимая сквозь сон, как поют за стеной и хохочут игривые девки. А проснешься -- тропа торопливо сбегает с двора мимо гряд огорода с росистой капустой на низменный луг, к мелкой речке, где в прозрачных, сверкающих струйках извиваются возле травы изредка, как тесемки, пиявки.

Он разделся и бережно сходит упругим отлогим песком в искрящийся бисер заласканных солнышком вод, Струйки и теплое солнце -- все это вместе игриво щекочет его, пробегая по телу, как будто бы жадно-веселые, прыткие глазки... глазки... Вальц?

Почему он так вздрогнул? Почему эта мысль так нелепо, как ток, проскочила в мечтанья?

Истопница Агафья, раздув сквозняки, надуваясь, втащила охапку полен и гробахнула об пол у печки. Скрипнув дверцей железной, сложила дрова, расцветив их румянцем зажженных лучинок. Стала печка фуфыркать, трещать, содрогаясь всей дверцей, на полу ж веерами пустились вприсядку зарницы огней. Агафья, кряхтя, поднялась и ушла.

"Что-то нынче работа не лезет на ум. То ли воздухом за день с непривычки я вдоволь напился?-- сам с собою вопросом озадачился Зудин.-- Или так, с неприятностей этих меня разморило? Так и тянет прилечь, помечтать и уснуть!"

Зудин мягким ковром подошел ближе к печке, к дивану и присел, предварительно выключив свет потолка, Только лампа вдали белым матовым светом обливала по-прежнему стол. А у печки пополз чуть краснеющий сумрак; покрывая ковер и диван и колени сидящего Зудина мягким, легким мерцаньем играющих в печке сквозь просветы дверцы дрожащих лучей.

-- Дежурная просит, можно ль подать телеграмму сразу вам иль дождать сиклетаря?-- говорит, появившись, Агафья.

-- Пусть подаст!

Зудин нехотя встал и развалкой прошелся к столу.

И совсем незаметно откуда, из сумрака вынырнув, что лежал по углам возле печки, обозначилась, плавно качаясь, шелестящая юбками Вальц, Вальц в шелку, Вальц в духах.

Пробегли мимолетно по ножкам из печки пугливые зайчики, раззолотясь. Шоколадною рамочкой темно-яркие пряди волос окаймляли картинное личико, нежно-тонкое и, как белка, лукавое. Ротик упрямый в тайниках своих таял стыдливой душистой улыбкой. А густые ресницы, как два опахала индусских принцесс, вдруг овеяли Зудина ласковой чуткостью карих глаз, глазок Вальц.

И как будто бы снова и струйки, и воздух, и солнце там, в мечтовой деревне заплескалися нежно, щекоча изомлевшее тело. Сделалось сразу тепло, жгуче-стыдно и жгуче-приятно.

-- Целых шесть телеграмм! -- шелестят шепотком ее губы.

-- Хорошо, вы присядьте.

Она молча садится прямо в кресло пред ним, у стола. Он отчетливо слышит, как колотится сердце у ней и журчит утопающий в кресле, замирающий шелк.

Как-то глупо трясется рука у него, разрывая конверты депеши. Эти две из Москвы, остальные с фронтов: две из Пскова, одна из Архангельска, а та из Смоленска. И глаза его быстрой припрыжкой несутся по строчкам. Здесь -- разгадка по делу Жиро; вот запрос о финляндских бандитах: здесь еще одна нить к савинковским подкопам, где замешан какой-то поляк Стефаницкий,-- остальное все справки и справки.

-- Эту надо отдать будет Горсту, эту Пластову, эту Кацману, эти две Фомину. Только утром отдайте Петровой все провести по журналу, а эту потом подложите ко мне в дело Розенблята. Оно здесь, у меня на столе. Я его просмотрел, и в коллегии завтра мы решим по нему заключенье.

Сам говорит, а сам тянет, замечая, как не хочется ей уходить. Недовольною ручкою, не спеша, собрала она в папку депеши. Ее груди подымались под серою саржей упруго, и кулончик с сапфиром, как щепка, качался в волнах.

-- Вы были любезны передать кое-что из ваших вещей моей жене. Я вам очень за это признателен, право. И жена очень тронута. Но, я надеюсь, что вы не имели в виду нас обидеть бесплатным подарком? Разрешите мне вам заплатить, сколько стоит.

Вальц стоит, грустно-грустно потупясь.

-- Если вы так решили безжалостно... мне заплатить за сердечный порыв моих чувств? Очевидно, я так заслужила. Но я, право, не знаю цены этим всем пустякам: я их не покупала.

Пунцовый багрянец, как на осеннем кленовом листочке, зарделся на щечках. Шоколадные глазки, расширясь, сверкнули растопленным блеском прямо Зудину в сердце. Губки тонко-претонко ужались, побледнев от каемки зубов. Шумный, быстрый, крутой поворот, огоньки всех цветов на гребенке -- и ушла. Только зайчик из печки впопыхах прошмыгнул лакированной туфелькой Вальц.

"Черт, не баба!" -- подумалось Зудину вслед. И хотелось, мальчишкой дурачась, сорваться Вальц догнать и уткнуться лицом ей в пушистую шейку.

"Видно, так и не сяду нынче работать: весь обабился",-- пробовал Зудин одернуть себя укоризной. Все напрасно. Как тина, тянула его тишина и пружинная мягкость дивана, что весь в бархате рыжем ржавел в жарких бликах сгорающей печки. Мимо ящиков пыльных с бумагами, сором и хламом, обойдя связки оружъя и кучи бутылок, пробрался он к печке, распахнул ее дверцу и стал жадно глотать всеми порами тела через платье сквозящий теплый жар, что струился от груды пылающих углей.

"Хорошо б помешать, чтобы ярче горело". И, кнопку нажав, позвонил он к Агафье.

На пороге нежданно появилася Вальц в красных бликах пожарища печки.

-- Вы звонили. Уборщицы нет, отлучилась куда-то на минутку.

-- Не беспокойтесь, пожалуйста, я обожду. Передайте, чтоб мне принесла кочергу.

-- Я подам!

Не успел он ответить, как, вспорхнув быстрой птичкой, вновь явилась она перед ним с кочергой.

-- Не трудитесь, я вам помешаю.

И стремительно, властно, присев и развеерив юбки, она стала сгребать огневеющий жар. Тишина, теплота, полусумрак, такой мягкий, уютный диван и изящная женщина -- сказкой-принцессой -- возле печки. Весь безвольный, обмякший. Зудин млел на диване.

-- Как у вас хорошо! -- обронила задумчиво Вальц, поднимаясь и ставя железину в угол.

-- Так оставить?-- спросила, на открытую дверцу лукаво кивнув, улыбаясь прозрачной лаской.

Зудин молча мотнул головой, и хотелось ему, чтобы все: печка, сумрак, огонь и тепло, с нежной Вальц, с Вальц душистой, манящей,-- все осталось бы вечно, как картинка наивной легенды, как обрывок живого, красивого сна.

-- Оставайтесь! -- шепнул он беззвучно.-- Присядьте!.. Вот диван, а хотите -- вон кресло.

Шепотком:

-- Если вы разрешите? -- и, шумя своим платьем, опустилась она рядом с ним.

Откинувшись телом к подушкам, он изумленно следил за собой, как стучало сильнее в висках, как сжимал кто-то сердце так крепко и сладко, и ползли, нарастая могучей волною, потоком нити-токи, такие влекущие, сильные, к милой Вальц, к Вальц желанной, манящей, к теплой Вальц. Шевельнувши рукой, он вдруг замер от радостной

жути, внезапно коснувшись ее маленькой теплой руки, очутившейся здесь невзначай. И не стал отнимать, а застыл очарованным, нервно дрожащим, по мере того, как душистые тонкие пальчики Вальц стали бережно гладить, ласкать его руку.

-- Алик, милый, родной, для чего ты обидел меня?! -- слышит он ее страстный подавленный шепот. Видит в протенях чье-то чужое мутно-нежное личико с темными нишами глаз и упруго распавшийся, жадный, томно сверкающий лепестками жасминными, ротик -- влажный, манящий.

-- Алик, тебя я люблю страстно, нежно!

Она судорожно жмет его руку, вся порыв, вся восторг.

-- Ты мой бог, мой кумир, мой единственный, мой повелитель! О, не бойся, тебя я не отниму. Пусть семья твоя, круг товарищей, служба, работа, революция,-- ну, словом, все, чем ты жив, остаются с тобой. Мне так мало, немножечко нужно: твой взгляд доверчивый, ласка неги твоя и родное, родное участье. Ты один во всем мире, кто понял меня! Алик, ведь я так без тебя одинока, и всегда я была одинокой -- до тебя. Только ты, мой единственный рыцарь, нежный и страшный, только ты меня понял... Ну, а ты... разве не одинок?! Знаю, весь ты клокочешь: революцией, партией, делом... Но разве там, в тайниках, в глубине у себя, ну, скажи, разве счастлив ты? Разве в ком-либо искру участья ты находишь к себе? О, не как там к товарищу Зудину, не как к Алексею Ивановичу или к "Леше", привычному мужу-отцу,-- нет, а как к Алику милому, не только со всеми твоими достоинствами, но и всеми твоими грехами, недостатками, слабостями, пороками, сомнениями, горем? Если б было позволено мне именно так вот тебя полюбить: кто бы ты ни был, без каких либо прав на тебя! Видишь, мало прошу я, и как этого много для жизни моей!.. Только не гони меня, Алик. Не бей меня жестким бичом отчужденья. Если я подарила семье твоей там какие-то сласти,-- верь: мне только хотелось от чистого сердца принести миг отрады твоим детям, твоей жене, и через все это только тебе, лишь тебе! А ты? Заплатить!! Как жестоко! Ну, скажи, мой родной, мой любимый, мой Алик,-- ведь я ж вся твоя,-- ну, скажи!..

Чудится Зудину, что слова нежной Вальц, Вальц Елены, жарко прильнувшей губами к руке, хороводом игривым и пряным бегут в его мозг, и он тает перед ними, как воск. Чудится Зудину, будто душистая, мягкая, теплая, липкая лава широким потоком вкусного молочного шоколада покрывает его целиком, залила ему рот и уж душит до спазм его горло. Это не шепоты вкрадчивой Вальц -- это странный растущий стрекочущий внутренний шум молоточками бьет по вискам, и холодные дрожкие цыпки побегли по ногам, по рукам, по спине, будто в быстром на цыпочках танце Вальц упруго и стройно несется пред ним. И в вихревом растущем жужжаньи мнится Зудину: это не Вальц -- это страшная жутью динамо, вся дрожащая страстью машина с гулом быстро летящих приводных ремней. Он стоит возле нее, огорошенный лязгом и звоном, а машина гудит и зовет, и манит к себе ласковым, жалобным стоном. И манит и зовет: брось копченый и грязный завод, ближе, ближе ко мне. Посмотри: хоровод синих диких огней пляшет в жерле моем все сильней и страстней!!!

-- Берегись, Алексей! -- кто-то дергает грузно его за плечо. Это товарищ, масленщик Данила.-- Берегись, каб машина тебя не сглотила! Ишь, разинул как рот!..

Вспомнилось, вспомнилось все это быстро в огнемечущем вихревом миге.

Зудин испуганно, нервно дрожащей рукою провел по своим волосам, осторожно подвинулся, медленно встал и, оставивши Вальц беспомощно грустить на диване, зашагал не спеша взад-вперед.

"Как все это нелепо, нелепо",-- повторял он себе, подавляя волненье и дрожь.

-- Неужели я ошиблась?! -- слабеющим шепотом протянула вопрос к нему Вальц.

Зудин, вместо ответа, пододвинул к дивану прохладное кресло, обитое кожей, закурил папироску и начал:

-- Я не знаю, ошиблись ли вы, я не знаю, но мне хочется вас остеречь от ошибки. Я охотно вам верю, что ваши поступки и честны и сердечны... Но поверьте и мне, что поддаться на чувство беспечных страстей мне как раз и нельзя, не смогу я, не должен я, одним словом... От души, право, жаль и себя мне и вас, но поверьте: для нас ли любовь?

Вальц стремительно вскинулась, встала с дивана и, пройдя два шага по ковру, опустилась бессильно на горб чемодана.

-- Коль обиделись -- это напрасно: я хотел только остеречь вас от глупой ошибки. Разумеется, я не святой, и всякие нежные и грубые чувства, все, что свойственно людям,-- не чуждо и мне. Но зато есть, Елен Валентинна, во мне то, что вы не поймете,-- как бы вам объяснить? -- чувство класса. Это дивный, вечно живой и могучий родник. В нем я черпаю все свои силы, из него только пью я и личное, высшее счастье. Как он во мне зародился -- я не помню и сам. Только в грязном, тусклом подвале, где жила со мной мать моя, прачка, из окна глядя в ноги прохожих, я ребенком-оборвышем понял, что есть на свете красивые люди в блестящих и новых калошах, но с грязной, черствой душонкой, и есть много, много таких, что всегда и босиком и в грязи, а вот так и сверкают сердечьем! А когда с позаранним гудком стал хозяином моей жизни дребезжащий от гула завод, масляной сажей роднящий всех нас, понял я, что настанет когда-нибудь счастье на свете и для нас -- черномазых, и узнал я тогда от товарищей и из книжек и пути к тому счастью... Нелегко, нелегко нам идти этим путем. Много тяжестей, пропастей есть впереди. Много жертв и ошибок, колебаний, сомнений, лени, усталости. Иной раз так охота прилечь на диван, чтоб забыться... Но режет молнией туман и бодрит, как гром, клич рабочего класса. Он нам дивных восторгов сплетает венки; перед ним грезы сердца, бабье -- пустяки. Он звучит в нашем сердце могучим порывом, в его радостной власти и разум и чувства. И его заглушить, променять, позабыть?.. Ради чувства изнеженной женской любви?! Много сладкого есть кой-где шоколада, но он нам чужд, к нему мы совсем не привыкли, своей мягкостью он нам только мешает в жестокой борьбе: а коль так, его и не нужно. Я надеюсь, теперь вы поймете меня, не

сердясь, что стать вашим милым -- для меня невозможно. Значит, будем отныне владеть собою и, незлобно простясь, мы с вами останемся -- как и были -- друзьями!

Опустивши головку в колени, Вальц беззвучно зубами кусала платок, а в сердечке все ширился горький горячий комок и... расплылся слезами. Она медленно встала, ничего не сказала и, стиснувши губы, молча вышла, притворив за собой мягко дверь.

Было тихо, и скука усталости упрямо сползала на Зудина. Чтобы уснуть, он постлал в изголовье пальто и решил на диване прилечь. И потом только слышал спросонок, как Агафья, должно быть, стучала заслонкой, закрывая уже прогоревшую печь.

IV

Как будто бы толстые змеи в черной норе, ползают городом сонные сплетни. Вот с хромоногой старушкой они ковыляют на грязную паперть церкви. Там заползают они в пазуху обрюзгшего человека, еще недавно бывшего круглым и толстым, а теперь повисшего жилистой шеей в своем бобровом воротнике и усердно крестящего желтые складки обмякших морщин. Человек, бывший толстым, вдруг чувствует: что-то зудит по спине; он вертит плечами и, нагибаясь к соседу, скучающе шепчет:

-- А вы знаете?..

-- Знн-на-аемм ммы! Знн-на-аемм ммы! Зн-наемм! -- гудят высоко наверху колокола.

Сипло читает охрипший дьячок, монотонно читает, а попик, лохмато насупясь, ныряет чешуйчатой ряской в клубочках лилового ладана и все чадит и чадит, наклоняя лиловый клобук перед тусклыми блесками риз разбогатевших копченых богов.

-- А вы знаете, царь Белиндер Мексиканский объявил большевикам войну?

-- Царь Белиндер Мексиканский?.. Нет, не слыхал. С какого же фронту?

-- Морем, слышь, едет. Везет при себе все еропланы, еропланы, еропланы и пушки, что плавают под водой, а стреляют на воздух: их не видать, а врагам одна гибель. Уже через неделю, знать, должен быть здесь, и тогда всем коммунистам конец.

-- Под водой и на воздух? Чем же стреляют? Чай, в воде все снаряды промокнут?-- недоверчиво смотрит.

-- Снаряды, почтенный, не с порохом, а стреляют воняющим газом. Как стрельнут -- кто дыхнет, тот и дохнет!

-- Куда ж мы тогда поденемся?

-- Нам приказ будет: сидеть по подвалам, покеда всю эту мразь не передушат.

Сосед сосредоточенно слушает, вздыбив бровь. А рядом какая-то дама с отвислым огузком у шеи, как пеликан, и с напудренным носом, жестко торчащим под толстою бархатной шляпой с тощим и мокро повисшим общипанным перышком страуса -- разинула жалобно рот и жадно хватает слова разговора, как индюшка летающих мух.

Шепот клубящихся сплетен несется вместе с извивами чадного ладана и гарью восковых огарков и расползается быстро по всем закоулкам ушей.

-- В-вы знаете? шу-шу-шу...

-- Коммунисты бегут, словно крысы... шу-шу...

-- Троцкий Ленина сам зарубил косарем, вот ей-богу, не встать мне с этого места... шу-шу... Мой племянник вчера лишь приехал из Москвы, сам все видел, он служит в Кремле в Наркомпроде.

-- Что ж, он у вас коммунист?-- и залпы враждебных насмешливых зенок вонзились в старушку.

-- Что вы? Мать пресвятая заступница, спаси и помилуй, какой там коммунист? Не помирать же с голоду,-- вот и служит у иродов, чтоб им ни дна, ни покрышки!

-- А вы слыхали, Игнатьев-то наш подыхает: вчера докторов, докторов, так все везли к нему и везли. Кишка, вишь, растет у него из живота, у жидюги проклятова, а все с перепою. Хоша б околел, окаянный!

-- А в чеке, слышь, вчера опять восемьсот человек расстреляли. Арестовано было тысяча, а расстреляли восемьсот. Двести, слышь, откупились... шу-шу...

-- Почем же?

-- Кто почем и кто чем. С кого, слышь, по ста тысяч, а с кого там мукой, с кого золотом. Всем берут живоглоты.

-- Ваньку Красавина, вон, бают, выпустили, так взяли четыре персидских ковра, бриллиантовы серьги и двести тысяч деньгами... Что церковного старосты... Фомы Игнатьича, крестник.

-- Батюшка, Николай милостивый, святые угодники, да когда же будет конец душегубам? Царица небесная, спаси и помилуй!

-- ...А вы знаете, царь Максильян Белиндерский под водой едет прямо сюды и будет стрелят воняющей пушкой... шу-шу... шу-шу-шу...

Клубком извиваясь, клобуком лиловея, как ладан, прозрачные, стелются городом сплетни.

Уползают, как змеи, туда, на окраины, к потухшим заводам.

Залезают в хвосты, что дежурят с утра возле запертых лавок за хлебом. Понурясь, как черные сгнившие шпалы, плотно стоят вереницы. Старушки с котомками, ребята в отцовских пальто, накинутых на голову, чахлые желтые жены, рабочие. Кепки надвинуты. Руки вбиты в карманы. Глаза сухие и красные, словно стеклянные угли. Рот на запоре.

Только старуха ворчит что-то рядом:

-- Гошподи, гошподи! Шкоро ли жизнь окаянная кончичча. Ваняшка лежит, не вштает,-- бешпременно помрет от чинги.

Рабочий косится.

-- Ишь, зарядила... Заткнись!!

-- Шам жаткнись. Тебе, чай, полфунта кажный день. А мне по второй, вишь, четверка, и тая не кажный, и тая ш декретом вашим окаянным: вешь рот, пока ешь, рашчарапаешь, прошти, гошподи!

-- Да уж даездились,-- передергивает рядом затертый пиджак в картузе.-- Нады быть лучше, да некуда. Наасвабаждались да чертиков наши товарищи, гаспада камиссары. Только, кажись, уж не долго им... Вон генерал, слышь...

-- З-ззамолчи!.. С-ссатана! Расшибу!..

Кепка надвинута. Руки вбиты в карманы. Глаза сухи и красны. Как угли.

А за крепкою, толстой стеной, в сером доме с часовым у крыльца и пугливой панелью, как прежде, клокочет работа.

Зудин нервно пальцами с боку на бок кладет, как овес, русые пряди волос, сдвинувши брови, слушает Кацмана. Тот расселся, сутулясь, курчавый, оседлав горб нависшего носа пенснэ, подбирая с губы непослушную слюнку.

-- Да, Алексей Иванович, наружное наблюденье, агенты Сокол и Звонкий ясно видели мистера Хеккея, да, я говорю: мистера Хеккея, того самого, здесь на улице, возле гостиного двора. Они -- за ним. Он -- во двор и бегом. Те -- стрелять, ну, да где ж там! Там такие себе закоулки, к тому же -- наступал темный вечер. Бесследно пропал. Осмотрели потом весь двор. Перелез через забор в переулок и ушел себе, обронивши калошу. Жалко, нет карточки, а то б натаскали всю агентуру,-- мигом бы сцапали. Теперь же только и надежда на случай, если вновь тот наскочит на Сокола. Дал ему пост у гостиного. Вот и все о Хеккее: пока что ушел, но таки здесь. Теперь дальше. Мне все кажется, что Павлова надо б убрать. Его прежние фокусы с делом Бочаркина, помнишь, были таки очень подозрительны. Теперь же опять это дело с бриллиантами, которое он, без моего ведома, как-то ухитрился взять себе у Фомина. И теперь он его, таки да, старается затушить. Дело ясное: за Павловым надо поставить наблюдение, а потом, если что, то убрать его даже к Духонину в штаб,-- и Кацман криво улыбнулся худым и желтым горбоносым лицом.

-- Ладно, Абрам, делай, как лучше,-- подтвердил задумчиво Зудин.

-- Вот еще что, Алексей Иванович...-- как-то сконфузясь и бегая глазами по сторонам, загортанил вновь Кацман,-- в связи с Павловым не мешало б еще кой-кого перебрать в нашем царстве. Как тебе, а мне-таки и Липшаевич, нет, не по себе.

-- Вот, вот,-- кивнул Зудин,-- я сам давно собирался тебе это сказать.

-- А затем, знаешь, эта вот... Вальц?-- и Кацман пребыстро, как бы стыдяся себя, заглянул Зудину прямо в глаза.

-- Вальц?.. я... не думаю,-- ухмыльнулся насильственно Зудин, краснея.

-- Очень уж ты доверяешь ей. Смотри не ошибись! -- потупился Кацман.

-- Брось, Абрам! Я знаю, что ты думаешь, и уверяю тебя: все это чепуха. Хоть она и вертит около меня хвостом, ну, да я не польщусь,-- это раз. А затем ведь она благодарна мне, как собака, что я вытащил ее из плясуний и дал службу. Она, брат, теперь за нас в огонь и воду. Ты обрати внимание, сколько она раскопала новых нитей в старых, "оконченных" нами делах!

Зудин торжествующе ухмыльнулся.

-- Нет, Абрам, я за Вальц отвечаю. У тебя к ней предрассудки, как к смазливенькой бабе. Это ты брось.

-- Как знаешь...-- мотнул ему Кацман, сдаваясь,-- только вот...

Но в дверях появился Фомин.

-- Здорово, Алексей Иваныч, здравствуй, Абрам Моисеич. Я сейчас прямиком от Игнатьева. Он хотел тебя вызвать к себе, так как по телефону говорить неудобно, да поймал вот меня и передал, братцы, аховое дело. Получил он сегодня из Москвы с курьером пакет: там потянули за ниточку боевую дружину эсэров, а клубочек-то здеся, у нас! И под нашим "недреманым оком", верстах в десяти по Северной дороге живет на дачке в Осенникове милейшая бандочка и благоденствует, к чему-то готовясь. Чего спохватились? Это только присказка, а сказка вот впереди. Ограбленье кассира в Нарбанке -- это их дело. Но конспирация, други мои, богатейшая. Так чего ежели сразу накрыть, то надо кому-нибудь одному, много -- двум, осторожно сначала прощупать все ходы, а потом уж и крыть, когда будут все в сборе. Впрочем, нате вот, сами читайте! -- и он, улыбаясь, сел в кресло, довольный собой, предоставив обоим друзьям упиваться вперегонки порывистым чтеньем.

-- Кого же послать? Кто поедет? -- задумался, выпрямясь, Зудин, руки в карманы засунув и смотря в Фомина,..-- Разве послать Куликова?

-- Знаете что? Давайте-ка съезжу я сам! -- вдруг поднимается Кацман.

Все молчат.

-- Ну, что ж, сам так сам, коли так захотел. Дело серьезное и интересное. Только знаешь что, брат,-- возьми-ка себе кого-нибудь в помощь, хоть того ж Куликова или Дагниса. Да непременно на ближайших станциях скрытно расставь наш отряд. Тогда будет дело,-- решает Зудин.

-- Так, так-так,-- подтверждает Фомин.

А Кацман, вскрыленный восторгом от предстоящего важного дела, бойко сверкает глазами.

-- На подмогу возьму с собой Дагниса: парень бывалый!..

***

А в маленькой серенькой комнатке Вальц наклонилась над делом с упорным вниманьем, даже привстала и ногу на стул подогнула коленкой. Широкое скромное платье дешевенькой ткани лежало воздушными складками сборочек, закрыв целомудренно шею и руки.

"Петя Чоткин! приятель! и ты здесь?!"

Ухмыляется изумленно и весело. Петя Чоткин встает, как живой: несуразный такой, долговязый, с большими ушами -- как лопухи, в модном фраке покроя "коровье седло" и в открытой жилетке с измятою грудью. Вечно потные руки.

"Да, это он: Петр Иванович Чоткин, сын купца".

Вспоминается ей его громкий, раскатистый хохот, его грубость манер. В высшем кругу кутящей золотой молодежи он был принят и вхож, как досадливый шокинг, оправдание веское, впрочем, имеющий: сын единственный миллионера купца, фабриканта драгоценных вещей.

-- Петр Иванович Чоткин?-- Кто ж не знает?!

Вспоминается Вальц, как, подвыпив однажды, он червонцами доверху весь закидал ей открытый корсаж. Она жадно ловила холодные броски, а кругом хохотали, что "тятька опять Петьку драть будет за уши: вон инда вытянул все! Ха-ха-ха!"

Вальц разбирается быстро в бумагах: арестован, сидит уже три месяца. Вальц даже свистнула от любопытства. "За что ж он это, за что?!!"

Один его старый знакомый приятель, офицер из агентов Деникина, заночевал у него как-то раз, на правах собутыльника, а при аресте в этом сознался. Вот и все. Больше улик никаких. Следствие давно все закончено, есть даже справка: офицер тот расстрелян. Есть и заключение следователя: дело прекратить, а Чоткина освободить, но пометки об исполнении этого нет никакой,-- на докладе, знать, не было. Так и есть. Следователь Верехлеев был срочно вызван зачем-то в Москву, дело заброшено в папку законченных дел, а арестованный Петя все сидит и сидит, всеми забытый.

Вальц вспорхнула и быстрой припрыжкой прямо к Шаленко через комнату.

-- Где у вас алфавит арестованных?

Вот на "Ч" так и есть: Чоткин Петр Иванович, камера 45, за следователем Верехлеевым.

Воротившись к себе, ухмыльнулась, припомнив долговязого Чоткина.

"Ну, ничего, брат, в память прежних проказ, так и быть, помогу! Завтра будешь свободен. Сейчас покажу дело Зудину и возьму от него резолюцию",-- и опять улыбнулась светло так и радостно.

"Завтра будешь скакать, как жираф, на радость мамаше с папашей".

Вдруг задумалась странно. Ушла вся в себя. Потом, не спеша, осторожно подсунула дело под связку других, оглянулась тревожно -- никого! Облегченно вздохнула и вышла прямехонько к Кацману.

-- Абрам Моисеич, мне нездоровится сильно сегодня. Отпустите домой, а если будет легче, я лучше приду вечерком -- сейчас очень трудно сидеть. Можно?

Но разве Абраму до Вальц?

-- Хорошо, хорошо, идите!

Словно шалунья-девчонка, что на глазах воспитательниц строгих семенит очень робко, богомольно потупясь, подавляя крикливую радость, а сама исподлобья роняет хитрейшие взгляды,-- так и Вальц преднамеренно тихо, как будто больная, осторожно спустилась на улицу. Над головой расстилался бирюзовый кусок голубейшего шелка небесных лазурных простынь. В изумрудных пустынях так тихо и ясно: ни тучки. А здесь, над землей, издалека откуда-то тявкает понизу звон, будто кто-то просохший уныньем, скучным кашлем долбит по жестянке тягуче и нудно. Нынче пост.

Елена пошла торопливо, сутулясь. Огляделась украдкой, промчалась мимолетным взглядом по газете на стене на углу и опять побежала. Под крепким ее каблучком крахают хрупко хрустальные корочки, звонкие пленочки выпитых холодом луж.

Вот горбатым чернеющим коробом нахохлился каменный дом -- бывший Чоткиных: Вальц это знает. Она быстро к парадному, но парадное заперто наглухо, и в досчатых щитах ослепли зеркальные стекла. Тогда в хмуром подъезде ворот прочитала она на доске: И. П. Чоткин, кв. 17, и пробравшись в колодец двора, скользя по осклизлым тропинкам, пробегала глазами номера над дверьми. Вот это здесь: 13, 14, 15, 16, 17...-- ага! 18 и так дальше. По мрачной каменной лестнице с железной грубой перилой, мимо размеченных мелом дверей, Елена, согнувшись, взобралась на третий этаж. Пахнет мусором, кухней и кошками. Дверь 17. Стучит осторожно, кулачком молоточа, -- никого. Вальц повторяет настойчивей, гулом будя говорливое эхо. Кто-то быстро подходит с пугливым вопросом:

-- Кто там?

-- Мне надо видеть Ивана Петровича Чоткина... по очень важному личному делу.

-- Их нет дома. Иван Петрович ушовши...

Выжиданье.

-- А по какому вам делу?

-- Да я к ним от ихнего сына, от Петра Иваныча,-- подделывается Вальц под говор вопросов,-- очень их нужно. Не бойтесь. Разве не слышите по голосу, что женщина, а не жулик?!

Крюк застучал, дверь приоткрылась щелкой, потом совсем распахнулась.

-- Взойдите!

Отпирает прислуга, старушонка в платке, а другая -- сдобней и в косынке, появившись на стук, испытующе гложет Елену недоверчивым взглядом. Смерена Вальц с головы и до ног беспокойством обеих.

-- Иван Петрович с супругой к обедне пошли. Они завсегда на четвертой неделе говеют. Здесь недалеко -- у Троицы: скоро должны воротиться. Посидите, ежели вы насчет Петра Иваныча. Уж очень они убиваются за сыном. Шутка ль сказать, сидит, почитай, четвертый месяц. С матушкой Анной Захарьевной мы кажинную среду носим сердешному на передачу хлебцев с ватрушками. Уж очень они, то-ись Петр-то Иваныч, любят ватрушки. И не знай, за что прогневился всевышний?! -- тараторит старушка в платочке.

-- А вы сами кто будете?-- общупывает вопросом, бочком подвигаясь, женщина в косынке.

-- Я знакомая буду Петру Ивановичу, а теперь очень важное, нужное я узнала про него, только мне надо для этого видеть его отца, Ивана Петровича.

-- Да не случилось ли что?! -- замирающе тянут в один голос обе.

-- Нет, нет, ничего не случилось. Напротив, я узнала, что можно скоро Петра Ивановича освободить, вот и пришла посоветоваться.

-- Ну, слава те, господи!.. Так вы садитесь, пожалуйста. Иван Петрович давно уж должны прийти от обедни. Вы пройдите в столовую, вот сюда! -- приглашает ее дама в косынке, любезно распахивая дверь в коридор, а оттуда в столовую.

Мрачно в столовой. Окна уперлись в какой-то каменный угол. Парусинные шторы вздернуты кверху. Под ними мотается клетка, а в ней егозит канарейка, и падают вниз беспокойные зернышки на подоконник. Зелененьким тусклым фонариком мигает лампадка в углу пред киотом сусальных икон. Часы из черного дуба глухо махают качанья свои на стене. На столе, покрытом темной клеенкой, под салфеткой спряталась снедь. У стен, как гвардейская свита, дубовые стулья охраняют большой, неуклюжий, тяжелый буфет. Такой же дубовый сервант завален каким-то мешком с просочившейся влагой.

"Должно быть, изюм иль чернослив,-- думает Вальц,-- вкусно пахнет".

"А живут очень сытно, хоть и мрачно у них, будто в склепе. Вот ни за что б так не стала я жить!"

Но вдали через двери слышны вдруг голоса. Это в кухне. Должно быть, пришли. И верно: взволнованно лезет прямо в шубе седой и небритый, как еж, высокий, морщинистый Чоткин. А за ним, словно утка, качаясь, норовит под рукою пролезть и вкатиться клубочком супруга в салопе. Сконфуженно смотрят на Вальц.

-- Вы от сына?-- встревоженно:-- Что с ним? Вы говорите -- выпустят?!

-- Выпустят, да... Мне хотелось бы на этот счет поговорить с вами наедине, если позволите.

Все молчат угнетенно. Взгляды старух заползают беспомощно в оловянные глаза Ивана Петровича, тщетно ища под седыми бровями поддержки в своей сиротливости.

-- Что ж, ежели секрет какой,-- говорит он, волнуясь и глухо,-- прошу вас, пройдемте за мной в кабинет.

Он ведет через залу, открывая заложенную половиком дверь.

-- Только вы извините, у нас тут нетоплено. В столовой и спальной да в людской -- все и ютимся.

Огромное зало выходит, должно быть, на улицу, но спущены шторы, и мебель пылеет в чехлах, а картины затянуты склеенной бумагой. Пол паркетный натерт и холодно блестит без ковров.

В кабинете сплошной беспорядок. Много мебели разной навьючено громоздко друг на дружку у стен, а под ней на полу высовываются толстые свертки ковров. На стене в золоченой тускнеющей зеленью раме распростерлась на фоне мрачного грота, перед черепом желтым, в раздумьи тупом Магдалина, свисая грудями на скучную книгу, мерцая спокойствием лба, обыденного, как затертый пятак. Под Магдалиной какие-то ящики, ящики с чем-то, прикрытые грубым холстом, возле них на полу есть следы от муки, и чуть пахнет селедкой,

Тяжелый, широкий письменный стол, крытый бордовым сукном, весь заставлен массивным чернильным прибором с медвежатами. Кажется, будто косматые эти зверьки неуклюже застыли, нахохлившись скукой, сползающей грузно с отвислых сосков Магдалины.

Пододвинув для Вальц полукруглое кресло в зеленом сафьяне, Чоткин сел на другое -- деревянное, гладкое, с широкой резною дугой вместо спинки, и молчал выжидая.

-- Видите ль, я давнишняя знакомая вашего сына, Петра Ивановича... то есть мы как-то нередко с ним раньше встречались у общих знакомых... Я раньше служила артисткой, и в театре мы с ним познакомились...-- запуталась Вальц.-- Одним словом, вашего сына я знаю давно и желаю ему только добра.

Она поежилась вдруг от проникшего холода комнатной сырости.

-- Но теперь, знаете ли, я узнала: ему угрожает большая опасность. У меня есть в чрезвычайке близкие знакомые, и они мне сообщили...

Чоткин впивается трясущимся взглядом прямо в эти, слегка подведенные кармином, беспечные губки.

-- Вы не пугайтесь, пожалуйста, хотя вашему сыну и грозит очень серьезная вещь. Видите ли, его могут или расстрелять или совсем освободить. Судьба его решится завтра и зависит она от одного человека, на которого вы легко можете повлиять.

-- Кто же он?

-- Председатель всей чрезвычайки, сам Зудин.

Чоткин обмяк, руки его со стола соскользнули локтями. Все его тело ушло глубже в шубу, словно улитка. Только стриженная седая голова тряслась отвисающей нижней губой, и слезы из мокнущих век спрыгнули на небритый колючий подбородок.

-- Что ж тут могу я поделать?-- прошептал он невнятно.

-- Какой же вы, право, чудак. Говорю я вам ясно: судьба вашего сына, слава богу, в ваших собственных руках, я этого добилась. Вы легко можете наверняка его спасти от завтрашнего расстрела. Нужно лишь вам кое-что припасти и вручить кому надо завтра к двенадцати часам дня.

-- Что же припасти?

-- Двадцать фунтов золота.

Старик встал, и рот его дрябло раскрылся. Чтоб не упасть, он оперся руками о стол. Хрипящее дыханье сипело внутри его морщинистой шеи.

-- Двадцать фунтов, двадцать фунтов... двадцать фунтов,-- шептал он подавленно,-- золота?.. Откуда же?.. боже мой, это совсем невозможно!

-- Ваш сын с головою замешан в огромном, ужасном деле. Я разузнала все способы его спасти, но другого выхода нет. Конечно, если вы не можете, то извините меня за беспокойство. Прощайте! Только потом не вините меня уж ни в чем, я вас предупреждала...

И Вальц, вздернув носик, жеманно поднялась.

-- Куда же это вы?! Батюшки, да что ж это сегодня?! -- разрюнился Чоткин, цепко хватая Вальц за манто и не выпуская из рук. И, упав головою на стол, зарыдал порывисто, громко:

-- Петичка, сынок мой возлюбленный! Да что ж это в самом деле, Христа ради, Христа ради, Петичка.

На пороге взметнулась старушка, круглая, толстая, маленькая, вся в сером, точно трясогузка. Уже успела раздеться.

-- Иван Петрович, что с вами?-- бросилась она прямо к мужу.

-- Что с Петичкой?! -- вскинулась она, как подбитая, к Вальц, держась за мужнюю шубу.

-- Анюта, голубушка, Петичку... н-наш-шего завтра... убьют, рас-стреляют! -- выл перерывисто Чоткин.

Старуха, не отпуская мужнин рукав, грохнулась на пол и громко, протяжно заголосила.

Вальц передернулась.

-- Я, право, не понимаю: богатые люди, золото раньше имели пудами, а теперь воют, жалея фунты, чтобы выручить сына. Прощайте! -- сердито дернула манто из рук ослабевшего старика.

-- Постойте, постойте, Христа ради! -- захрипел, протянувшись ей вслед, ковыляющий Чоткин. Старуха за ним, подвывая, качалась, раскисши от слез, как моченый анис.

-- Ну, в чем же дело?-- гордо рванула им Вальц, остановясь среди зала.

-- Да куда же вы бежите, дайте подумать, обсудить, прийти с мыслями.

-- Право, мне некогда,-- опустила она свои пухлые губки, прикрыв густотою ресниц шоколадинки глаз.-- Кроме того, это дело секретное, и на людях болтать я не буду.

Старики, подпершись и плача, потащили ее опять в кабинет с задумавшейся над селедками Магдалиной.

-- Неужели нельзя меньше?-- повис на Елене умоляющим взглядом слезящийся Иван Петрович.-- Двадцать фунтов, Анюта, золота спрашивают к завтрашнему,-- пересохшим голосом пояснил он жене.

Та, утирая платочком намокшие веки и нос, нервно всхлипывая, мусолила Вальц умоляющим взглядом, дожидаясь ответа.

-- Странный вы человек, право, Иван Петрович, будто вы за прилавком. Разве люди в таких делах торгуются? Если вам такое одолжение делают и спасают жизнь сына, вы благодарите бога, что спросили не пуд.

-- Хоть бы не все сразу. Откуда ж я столько возьму?-- и он беспомощно раздвинул руками.

-- Завтра к полудню должно быть готово все и сполна,-- отчеканила Вальц.

-- Иван Петрович! -- вскудахнула старуха,-- возьми ты уж, видно, мои все браслеты и кольца, и медальоны и цепочку с часами свои. Сын, чай, дороже,-- и снова она затряслась в судорожном, ноющем плаче.

-- Не хватит, старуха! -- прошамкал наморщившийся мыслями Чоткин. -- Разве попытаться занять у знакомых?.. Как же просить? не дадут! -- ради бога скостите!

-- Я уж сказала, что здесь не торговля.

-- Кому же платить? А вдруг как надуют?!

-- Не беспокойтесь, можно устроить, я берусь это сделать, чтоб дело было для вас верно.

"Как же, однако, устроить? -- подумала Вальц про себя.-- Как это раньше она не смекнула про это?"

-- Вы приготовите золото,-- тянула она,-- завтра к полудню, а мы к тому времени выпустим Петра Ивановича, вот и будет всем хорошо.

-- Значит, как выйдет, так и платить? -- заганул Чоткин.

-- Нет, зачем же -- как выйдет?-- поправилась Вальц.-- Мы приготовим в чека ордер на освобожденье, а при ордере вы и заплатите,-- поперхнувшись, тараторила она,-- а по ордеру тогда и выпустят вашего сына.

-- Знаете что, мадам или мадмуазель, извините меня, старика,-- засопел быстро Чоткин,-- я в делах этих не силен, а есть тут у меня -- он тут же в доме живет -- мой старый приятель, присяжный поверенный Вуншин. Вы не бойтесь,-- подернулся он в сторону Вальц, заметивши жесты ее несогласья,-- я от него никогда никаких секретов не имею: все, как на духу. И уж поверьте -- могила. Словом, свой человек. Я посоветуюсь с ним, вы позволите, я сейчас же вернусь.-- И старик, нахлобучась заботой, торопливо зашмыгал, словно боясь опоздать, как бы Вальц без него не раздумала и не ушла.

Анна Захарьевна, вытерши слезы, туманно смотрела бессмысленным, галочьим взглядом, пока Вальц в нерешительном раздумьи, сидя в кресле, щипала пушинки манто. Издалека, из столовой чилинькала зябко

канарейка, разворошив у Вальц воспоминания о свежеющих шумах зеленой весны. И стало досадно, что лезли ей в голову сочные мысли о птичках и взбухнувших почках, когда нужно зачем-то сейчас, среди пыльного хлама, в холодном, угрюмом гробу кабинета плести неприятный дельцовский разговор.

"Как: для чего? Как: зачем?-- всколыхнулась она:-- Сколько на это поганое золото я накуплю себе личной солнечной жизни!..-- даже замерло радостно сердце.-- Нужно только довести эту канитель до конца",-- стукнула себя по мечтам Вальц сучковатою мыслью.

Вдали где-то вздохнули и хлопнули двери. Торопливо и глухо кто-то шел, бубоня разговором. Скрипнули двери поближе. Канарейка, взметнувшись, зашуршала вслед уходящим упавшими крупками. Вот торопливо проходят по залу; один медленно, мягко и грузно -- это хозяин: другой щелкает по паркету быстрой скрипящей подошвой. И перед Вальц из-за тучи портьеры, из-за туши хозяина выбегает, весь съежившись, небольшой человек, стриженный ершиком, в очках золотых, с мелкими серыми глазками, с маленьким узким лицом хомяка.

-- Вунш, -- расшаркался, вскинувши ножками кзаду.

-- Иван Петрович меня посвятили,-- он кивает из-под очков почтительным взглядом в насупившегося Чоткина, будто обмахнул его серою пыльною тряпкой.-- Как же, однако, конкретно вы предлагаете сделку по поводу их сына?-- снова бросок взгляда тряпкой.

-- Сын их, Петр Иванович,-- спокойно начала Вальц,-- сидит за чека. Завтра его расстреляют...

Старушка порывисто ахнула, и из провалин мокнущих век опять замутнелись слезы. Чоткин кашлянул и глубже осунулся в шубу.

-- То есть расстреляют, если его не выручат вот они,-- поправилась Вальц.-- А выручить легко. Надо кой-кого смазать... из главных... и завтра же Петр Иванович Чоткин будет свободен.

Вунш сидел, пододвинувши стул, и, бегая мышками-глазками, барабанил пальцами по своей коленке.

-- Сколько же надо?

-- Двадцать фунтов золота в вещах или в монете -- безразлично.

-- Ого! -- исподлобья через очки обтер пыльным взглядом нахохленных Чоткиных прыткий Вунш, но тотчас же изящно, галантно откинулся к Вальц.

-- Вы простите... такие дела... сами понимаете, требуют известной серьезности и предосторожности. Кто вы будете? Нельзя ли взглянуть на ваш документ?.. Ваше предложение слишком важно, чтоб можно было на него отвечать пустяками, а деловой разговор, понимаете сами, требует деловых отношений.

Его глазки совсем потонули в отраженьях стеклянных очков.

Вальц вспыхнула густо, нависла презрительно верхнею губкой и, достав из внутреннего кармана манто документ, протянула его Вуншу.

-- Я -- сотрудница местной чека. Секретарша ее председателя... -- а глаза у самой в шоколадном растворе утонули стыдливо под волнами ресниц-опахал. -- Надеюсь, теперь вы убедились и поняли всю трудность и щепетильность настоящего дела? Не мог же председатель прийти сам к вам сюда?! -- высокомерно протянула она.

-- О, да, да, мы понимаем,-- учтиво конфузясь, перебил ее Вунш, торопливо подавая назад удостоверение с фотографической карточкой.

-- Как же быть?-- повернулся Вунш к Чоткину.

-- Я не знаю,-- ответил он беззвучно.-- У меня столько, сами знаете, нет.

-- Когда же вам надо?-- перекинулся Вунш снова к Вальц.

-- Завтра в двенадцать часов вы должны передать эту сумму мне сполна, и после этого к вечеру Петр Чоткин будет свободен. В противном случае вы больше его не увидите, и спасти его не удастся. В сущности,-- оправдывалась она пресмущенно,-- он настолько был неосторожен, что после всего им сделанного он подлежит безусловнейшей гибели, и если бы мне, как давнишней хорошей знакомой Петра Ивановича, не удалось уломать кого надо,-- она хитро стрельнула глазенками в Вунша,-- едва ли было бы возможным освободить его даже за ту жертву с вашей стороны, о которой сейчас идет речь.

-- Позвольте, где же гарантия, что вы его освободите после того, как получите на руки золото?

-- Но какой же дурак, позвольте спросить вас, будет стараться спасти его от верного расстрела, не будучи уверен в получении обещанного?-- надув губки, вздернулась Вальц.

-- Но позвольте, -- поблескивая очками, протянул Вунш,-- вы всегда в состоянии его снова арестовать в случае, если б условие не было нами выполнено. Вы ничем не рискуете: и он и все мы в ваших руках. -- И он закачался на стуле, не сводя глаз с розовеющей Вальц.

-- Вы неверного представленья о чрезвычайке,-- медленно растягивала она слова, закрывая смущенье пунцовым румянцем и липко хватаясь за тысячу мысленных нитей, лишь бы выскочить быстро из накинутой Вуншем петли.-- Председатель не может позволять себе капризы: сегодня выпустить, завтра вновь арестовать. При таких сложных действиях он должен был бы давать объяснения в коллегии, которая не всегда может с ним согласиться, или... потребовалось бы золота раз в пять больше того, что требуется сейчас,-- быстро и весело закончила Вальц, обрадованная своей находчивостью, и торжествующе смеривши Вунша победительным взглядом.-- И вообще я не понимаю, к чему все эти разговоры. Мое предложение точно и ясно. Если вы не хотите или не можете его принять,-- и, обернувшись к Чоткину, она сделала движение подняться с кресла,-- мне остается только уйти.

Анна Захарьевна опять расквадратила старческий рот, прижавши платочек к глазам, Чоткин, силясь сдержать свислую нижнюю губу, весь снова напрягся порывом отчаянья в умоляющих взглядах, брошенных в Вальц, брошенных в Вунша. Тот крякнул и приторно-сладко вновь учтиво поник перед ней головой.

-- Что вы, что вы, помилуйте. Мы согласны. Мы постараемся приготовить, сколько надо, но мы почтительнейше просим немного рассрочить, если нам не удастся так быстро набрать все сполна и не хватит, может быть, пустяков. Иван Петрович вовсе не обладает таким состоянием: ценности, какие были, пропали в сейфах и сейчас конфискованы. Придется им бегать, пожалуй, по разным знакомым, чтоб собрать у кого что осталось и кто что даст,-- он почтительно колупнул очками Чоткина, в такт словам мотавшего своей стриженной и обрюзгшей седой головой.-- Я надеюсь, что вы не будете слишком придирчивы,-- вкрадчиво щурится Вунш.-- А затем, где и когда вам вручить эту сумму? Эта процедура не совсем безопасна и может повести к большим неприятностям и для нас, и для вас.

-- Мы сделаем так,-- соображает вслух Вальц.-- Вы приготовите золото, а я завтра зайду за ним и принесу дубликат подписанного ордера на освобожденье Петра Ивановича, который и останется у вас доказательством и гарантией того, что наша часть обязательства тоже будет выполнена. Вечером же, вслед за этим, самое позднее ночью под утро, и сам Петр Иванович, выпущенный на свободу, пожалует к вам.

-- Хорошо,-- щебетнул Вунш.

-- Хорошо,-- прошамкал Чоткин.

-- Хорошо,-- бесшумно пошевелила губами Анна Захарьевна.

-- Итак, до свиданья до завтра, до двенадцати часов,-- и Вальц деловито поднялась.-- Только, пожалуйста, имейте в виду одно важное условие: Петру Ивановичу после его освобожденья и вообще никому об этом ни гугу.

-- Помилуйте, будьте уверены,-- опять расшаркался Вунш, лягаясь ножками.

Вальц, протянула всем руку и пошла, мягко шурша шелком юбок, янтаря скучную пыль мрачных комнат светом яркой корицы своих огоньковых волос. Шоколадинкой наряднилась в ворохе сложенной завали печальной квартиры. За нею трещал на дощечках паркета сухонький, серенький Вунш, а дальше глухо качались и плыли скорбные дряблые Чоткины.

Промелькнуло чехольное зало. Мельтехнулась столовая с забившейся птичкой и миганьем зелененького огонечка мутной лампадки в углу пред божницей. Звякнула кастрюлями кухня с задетым ногою у двери поленом и... пытка кончилась. Вальц бегом пролетела по лестнице вниз, через двор, и только поодаль на улице ощутила всю радость освобожденья и, замедлив шаги, вытянув тоненький носик, расправила грудь и внятно прочмокала:

-- Ух!

И целую ночь не спалось. Что-то нудно и жестко чесалось внутри подсознанья. И трудно было всю эту болячку прикрыть ворохом мелочей обыденных забот. Проснулась пасмурным утром как-то раскидисто и сумбурно. Было неясно, невнятно ощущенье чего-то давящего, огромного, неосознанного. Но мгновенно все вдруг оточнилось, отточилось и выпуклилось сердцебойной заботой, волевым напряженьем:

"Довести поскорей до конца".

Не помнилось, как пришла на службу, как достала заветное дело. И было отрадно, что все это не сон, что все это буйная явь, что дело никуда не исчезло, что осталось только одно небольшое усилье -- и Чоткин будет освобожден, и достанется золото, много золота. Лихорадило под кожей спины, а в плечах был жар, когда, прижав папку с делом подмышку, робко стукнула в двери к Зудину:

-- Можно?

Зудин сидел у стола беспокойно взлохмаченный, с глубокою усталостью запавших с бессонницы глаз, окруженных синеньем. Брови сдвинуты. Рот насупился.

-- Я с курьезным к вам делом, Алексей Иванович. Доброе утро.

-- Здравствуйте.

-- Вот оконченное дело, дело Чоткина... к прекращению, а... Чоткин сидит.

-- Как сидит?-- но вопрос безучастный, мысли где-то далеко.

-- Есть заключение следователя Верехлеева об освобождении... и дело направлено к прекращению, и вот попало даже ко мне, а обвиняемый все сидит и сидит уж три месяца.

-- Здорово! -- протянул тускло Зудин.-- Хорошо, вы оставьте, я разберусь, -- и вилами колющих пальцев вздыбил космы волос, а сам снова присталится в лежащую папку.

Вальц екнуло холодком. Скрипнула туфля в ковре.

-- Здесь всего лишь минутка вниманья, Алексей Иванович. Может быть, взглянете тут же. Заключение есть, и, должно быть, вы уже читали и только забыли положить резолюцию. Жаль человека, который так долго напрасно сидит.

Какой ласковый, искренний, вкрадчивый голос! Вальц сама удивляется: кто это из нее говорит? А глазенки запенились кружевеющей негой ресниц, как в ажурных розетках шоколадки-орешки.

"Картиночка",-- думает Зудин. Отрывается нехотя, боком повертываясь к подошедшей вплотную Елене.

-- Вот, смотрите! -- и папка пред ним.

Лакированный розовый пальчик, как тоненький ломтик живого фарфора, узорит пред ним скучный выцветший лист.

Да, написано: "Полагаю освободить... Следователь Верехлеев".

Зудин вздыхает устало и обмокнутой ручкой пишет вверху: "Дело прекратить..."

-- Как его фамилия?

-- Чоткин.

"Да, Чоткин",-- он сам видит это ясно.

"Чоткина освободить. Зудин".

Но почему так старается Вальц? Он пытливо скользит по глазам ее, жадно следящим за движением уставшей руки. Он перелистывает все небольшое дело сначала, старается вникнуть в почерки, в заметки и даты, но ничего не может осилить.

"Дело верное. Беспокойство напрасное. Чоткин сидит по случайной забывчивости. Вальц права. Иль, быть может, сейчас он устал, и не мешало бы разобраться в другой раз? А пока отложить?"-- он колеблется, устало качаясь на стуле.

На пороге растерянный Горст.

-- Алексей Иванович! -- а у самого руки дрожат. Голубые глаза беспокоятся.

-- Кацман убит!.. Дагнис ранен, а Кацман убит. Сейчас привезут.

-- Как убит?! -- все полетело кругами пред Зудиным. Взметнулся, как раненный зверь. Молнии едких отточенных мыслей ураганом сверкнули в очах. Папку швырнул на зазвеневшую бутылку в углу, бросился к Горсту.

-- Как убит, где?!

-- Сейчас звонил мне с вокзала по телефону Кунцевич, начальник отряда. Кацман убит сегодня утром в перестрелке с дружиной эсэров в Осенникове. Дагнис ранен. Убит один из эсэров. Остальные пока скрылись. Местность нами оцеплена.

-- Ах, сволочи! -- злобно и сочно выплюнул Зудин.-- Вот мерзавцы!.. Ну, скажи, как не расстреливать этих иуд, эту мразь?! Кацман убит!.. Нет Абрама! Убили! -- Зудин глубоко и устало вздохнул.-- Напоролся, рискнул, обнаружил себя раньше времени,-- мычал он себе под нос.-- Ах, как жалко, как жалко, Горст, Кацмана! Нет больше Абрама! -- метался весь взорванный Зудин.

Горст молчал, стиснув губы.

-- Ну, постой: я устрою им бенефис! Я сейчас проеду к вокзалу, а вы составьте скорей телеграмму в Москву, копию ЦК, я сейчас подпишу. Да надо позвонить Игнатьеву... А где Фомин?.. Да подайте сейчас же мне список, сколько арестованных за нами сидит. Надо сотнягу прикончить на память! Бедный Абрам!.. Ну, постойте, вы узнаете, дьяволы, как убивать рабочих вождей!.. Вот тут несколько дел...-- Зудин злобно швырнул со стола папки с делами.-- Эту мразь не отпускать! На террор ответим террором. За личность ударим по классу!

Под сердцем у Вальц похолодало. Убийство Кацмана, внезапный шквал дикой злобы, налетевший на Зудина, ей был страшен. А тут еще бешено брошенная, попавшая в общую кучу папка с невинным Чоткиным. Неужели и здесь все сорвется?!.. Из-за дурацкой случайности? Когда все так близко к цели!

Вальц задрожала.

А Зудин крутящимся смерчем, огромный и грозный, ринулся к двери и вынесся. Только подавленный Горст, молча и жестко понурясь, собирал по углам разлетевшиеся папки бумаг.

-- Здесь одна моя,-- потянула Вальц за знакомый угол обложки.

-- Он велел все оставить!

-- Да, но здесь уже есть резолюция! Это старое дело! Нельзя ж, в самом деле, из-за дикой случайности хватать сызнова и убивать уже освобожденных, ни в чем неповинных людей!

Она решительно взяла папку у сердитого Горста и вышла.

"Теперь поскорей! Как бы опять что еще не случилось, не помешало",-- бегом прямо к Шаленко.

-- Константин Константиныч! Поскорее, голубчик, напишите мне ордерочек: резолюция Зудина есть уже. Только, пожалуйста, с копией. Там внизу дожидается старушка-мать заключенного -- так надо ее обрадовать, показать!

-- Зачем же копию! Никогда этого не было. Освободят -- и довольно!

-- Ну, что вам, право стоит? Бумаги жаль, что ли?.. Какой вы жесткий! Я спрашивала Алексея Ивановича, он разрешил...-- а сама покраснела до ушей от волненья и лжи.

-- Ну, ладно, ладно,-- замахал головою Шаленко,-- сделаю, сделаю, одну минутку. Только напрасно, Елена Валентиновна, жалеете вы их. Вон, Абрама Моисеича ухлопали. Как жалко беднягу! Хороший и честный был человек! Все мечтал перевезть из Орши семью. А как он работал!..

Но Елене неймется. Булавками колет томленье ожиданья:

"Поскорей, поскорей, скоро час!"

Наконец, все готово. Бежит, запыхавшись, чуть не падает: мимо заколоченных ставнями окон, простреленных стекол, железом ворчащих проржавленных вывесок, магазинов готового платья, мелькнувших пустотами окон, как глазными щелями сухих черепов.

Вот и дом, точно ворон, осыпанный пеплом, сторожащий безмолвие дохлой улицы, где копошатся, как черви, последние люди. Туда, поскорее в подъезд и по лестнице, скользкой и мокрой, на третий этаж.

Сам Чоткин навстречу, весь мигающий остро ощетинившимися вопросом глазами:

-- Ну, что, как?

-- Все готово. Вот ордер, а дубликат на руках. Сегодня вечером будет свободен. И пускай поскорей уезжает куда-нибудь в деревню: мало ль что может случиться?!

Старуха набожно крестится.

Только сейчас замечает Елена бессонные, запавшие, белые дряблые щеки Ивана Петровича и мутный размазанный серенький взгляд суетливого Вунша.

Трясущимися руками Чоткин-старик несет из спальни и ставит в столовой на стол перед Вальц холщовый мешочек.

-- Здесь девятнадцать. Вот взвесьте,-- и тащит из кухни безмен.-- Больше, поверьте, никак не удалось насбирать, и то целую ночь на коленях с старухой вместе валялись в ногах у знакомых. Трудно народ понимает беду у чужого!

-- Ах, как трудно! Вот, насбирали без семи золотников девятнадцать фунтов. Выползали все колени. Зато здесь больше трех фунтов будет семьдесят второй пробы!

У старушки глаза на мокнущем месте, в розовых ободочках, и на сморщенном носике уже закачалась слезинка.

-- Вы уж войдите в положенье, Христа ради... Вы уж войдите в положенье!

Вальц морщится.

"Как бы скорее отделаться, а тут еще надо разыгрывать глупую роль."

От разбега тонкие пряди ярких каштанных волос лезут на глазки. Торопливо рассыпала по столу гремящее золото.

"Боже мой! Сколько богатства: браслеты, кольца, часы, медальоны, цепочки, цепочки и прыткие, словно живые, кружочки монет, ах, как много монет!"-- все засверкало горячей жар-птицей.

-- Хорошо. Кто будет от меня принимать, тот и проверит. Только насчет недостачи в весе вам придется как можно скорее на днях непременно добавить. Он едва ль согласится. И если какая там вещь низкопробная, вам тоже придется ее заменить. Уговор дороже денег...-- и еще торопливее непослушными пальцами прыгающей радости собрала жадно золото снова в мешочек. Завязала бечевкой и -- под манто.

-- Какой он, однако, тяжелый!

Копию ордера небрежно оставила на столе, где сидела. Указала лишь взглядом. Вунш впился в нее тотчас, рассматривая на свет оттиск печати. Отмахнулась от роя вопросов.

-- Когда же Петичку выпустят?

-- Не может ли кто обмануть?

-- Жив ли Петичка?

-- Да здоров ли он?

-- В котором часу он приедет?

-- Сегодня будет у вас!

И поскорее, поскорее вышла. Быстрее пошла, осторожно ступая, чтоб не упасть. Мешочек несла под манто. И скрылась за угол.

***

На углу встречаются прохожие. Молча смотрят друг другу глубоко в гляделки. Озираются робко.

-- Вы слышали: нынче убили в Осенникове на даче какого-то главного жида из чеки!

-- Да что вы?!

-- Да, да, да! -- радостно,-- это последняя новость! -- и дальше таинственней:-- А не слыхали? Едет сюда с подводною силой войной на них какой-то король Белиндер Моравийский! Не слыхали? В самом деле?.. Так знайте: через неделю большевикам будет верный каюк! Это из вернейших источников.

V

В кабинете Зудина раскрыта форточка. Через нее доносится с улицы лязг проезжающих пролеток и журчливое бульканье капелек в водосточном желобе. Давно нетопленная посиневшая комната теперь дышит холодной и затхлою сыростью, потому что из форточки веет теплой и солнечной свежестью весеннего утра.

Зудин, обросший щетиною щек и злой, как крыса, грызет за столом карандаш.

Эта подлая травля ему надоела. Он больше не потерпит.

Что есть силы, он ударяет по столу, отчего звенит чернильница и скатываются на пол ручки. Он кому-то грозит в угол зашибленным кулаком, хотя в комнате никого больше нет.

Дело ясное: под него подкапывается Фомин. Это он интригует против него через Игнатьева, и, разумеется, Зудин чувствует, не может не чувствовать эти тысячи мелких придирочек и косые взгляды товарищей из парткома. Ну, да он им покажет! Он выведет всех их на чистую воду!

-- Возьми себя в руки, Алексей! -- говорит он сам себе громко надтреснутым голосом.-- Возьми себя в руки и покажи, что ты выше их всех!

От этих слов ему делается легче, так что он подымается и делает более спокойно несколько концов из угла в угол по грязному, пыльному ковру.

"И как хитро ведут кампанию, подлецы,-- возмущается он.-- В глаза лицемерное товарищеское участье, а за глазами гадости и пакости без конца. Неужели закон вражды, злостной конкуренции и хитренького мелочного карьеризма, который ворочал всем старым, прогнившим общественным бытом и с которым он, Зудин, так неистово боролся и борется до сих пор?" -- и Зудин даже, судорожно сжав, подымает вверх кулаки,-- "неужели он так силен, этот проклятый закон, что разъедает самое святое, самое крепкое, что только существовало для Зудина,-- партию?!"

Он досадливо и зло ухмыляется,

Вспоминает, как однажды в ссылке, когда он лежал, обессиленный лихорадочным ознобом, в бурятской деревешке и стонал о горячем чае, его сотоварищ -- сухой, желчный Соков -- наотрез отказался подогреть ему чайник. Пришлось встать, колотяся зубами, и бежать несколько раз на мороз за дровами к опушке тайги, предвкушая в тумане больной головы мысль о том, что сейчас в очаге закипит, распузырясь, вода. И вдруг

оказалось, что Соков воспользовался его беготней и без него выпил весь закипающий чай. Было так горько и обидно, особливо тогда, когда Соков, смеясь, хвастал об этом потом, называя Зудина денщиком и холуем.

Но ведь все это было в годы разгрома, когда обручи общего дела и общих надежд разъедалися ржой поражения. А теперь, когда они так сказочно выиграли и через сени революции национальной вдруг неожиданно легко вышли в огромные хоромы революции мировой,-- вот теперь-то где же эта былая товарищеская спайка, братское самопожертвование и честная искренность друг к другу? А ведь теперь врагов кругом стало несравнимо больше, и враги гораздо сильнее, хитрее и кровожаднее. Разве он, председатель могущественной чрезвычайки большого города, не кажется порою сам себе жалким кузнечиком, дерзко залезшим на тонкую верхушку высоченнейшей пихты, откуда его вот-вот сдует стеклянный вихрь взбешенного капитала? Уж тут то и держаться бы всем подружнее -- всем, как один! А они?.. Зависть, подсиживание, коммунистическое лицемерие, революционное ханжество! Взять хоть того же Фомина, эту рыжую лису!

Злость закипает и клокочет в Зудине, давя ему грудь.

-- Довольно! -- кричит он кому-то,-- довольно! Я положу всему этому конец!

В дверь робко стучит и, крадучись, входит Липшаевич.

-- Разрешите к вам на минутку, Алексей Иванович? Я хотел с вами кое о чем поговорить. -- Он озирается по сторонам пугливо прыгающими глазами.-- Я должен вас предупредить,-- он приближается почти вплотную и продолжает полушепотом в ухо:-- против вас заваривается каша. Вас, очевидно, решили съесть. Видит бог, что я хочу вам только добра: без вас мы пропали. Берегитесь Фомина: он что-то затевает. Сегодня ночью неизвестно кем арестованы Павлов и Вальц.

Зудина коробит. Он не доверяет Липшаевичу. Ему противны его масляные наглые глаза, которые он встречал только у лакеев и маркеров, и этот вонючий тон сообщника какой-то воровской шайки.

Он знает к тому же, что и Павлов нечистоплотен и что его давным-давно нужно было бы гнать в три метлы из чека, и все же слова Липшаевича вновь бросают его в желчную дрожь.

Арестовать -- зачем, почему? А главное, без ведома его, Зудина?! Значит ему не доверяют больше. Отлично, пускай это будет последней каплей терпения, проливающей стакан его гнева. После таких сообщений дальнейшая игра в прятки уже невозможна.

-- Отлично, отлично, -- мычит он, потирая руки и ежась не то от внутренней нервной зяби, не то от свежих волн воздуха с улицы в форточку. -- Я не понимаю, о чем вы беспокоитесь? -- обращается он брезгливо к Липшаевичу.-- Я не боюсь интриг: моя совесть чиста и спокойна! -- и он насмешливо и сдержанно наблюдает, как сконфуженный Липшаевич медленно выползает, пожимая плечами.

Потом он хватается за телефон и звонит Игнатьеву:

-- Мне необходимо поговорить по важному делу, могу ли я сейчас же к вам заехать?

-- Хорошо, очень кстати: ожидаю.

-- Великолепно!

Он облегченно вздыхает, ощущая растущую твердость и какую-то внутреннюю гордость от своей правоты. Заказав машину, он достает лист чистой бумаги, разглаживает его и пишет телеграмму:

"Москва. Председателю ВЧК,

копия ЦК РКП. Срочно, секретно.

Прошу немедленно заменить меня другим. Надоели склоки.

Зудин".

Потом складывает телеграмму в боковой карман уже надетого пальто и бодро выходит. Его сердце, как пароходный гудок,-- весело, сочно и твердо.

Только на улице он замечает: далеко-далеко где-то жутко ухают пушки. Робко останавливаются прохожие. Чутко слушают, шепчутся.

Меся мокрый снег, нахмурясь, жидкими группами, с винтовками, в шапках и кепках проходят куда-то рабочие. Стайка матросов в бушлатах перебегает дорогу, разлетаяся клешами. Вдалеке через мост ползет и колышется длинная серая масса солдат.

"Подкрепление прибыло,-- думает Зудин. -- Надо бы сегодня ж переговорить с начальником Особого Отдела".

И вспомнил, что все это кем-то теперь так ненужно оборвано, смято. Он, Зудин,-- теперь ни к чему.

На углах черными кучками, как тараканы на хлеб, прилипли к расклеенным газетам прохожие.

Да, враг близко. Враг у ворот.

Разбросав брызги луж, машина остановилась возле широкого крыльца Исполкома, огромного желтого дома с колоннами. Зудин спокойно подымается вверх по высокой крутящейся каменной лестнице с полинялыми флагами и портретами вождей по стенам. Мимо часовых, коридором через приемную и секретариат проходит он к дверям кабинета Игнатьева.

-- Минуточку, я сейчас доложу! -- срывается секретарь и шмыгает в дверь, затворяя ее перед самым носом Зудина. Необычайный прием неприятно кольнул его снова и качнул утихшую было злость и против Фомина, и против Игнатьева, и вообще против всех, кто теперь вдруг перестал относиться к нему, к Зудину, доверчиво и просто, как раньше.

-- Пройдите! -- выбегает секретарь.

Игнатьев, как всегда, раскинулся в кресле у стола, а поодаль, на кожаном черном диване, сидит и пристально щупает его исподлобья, в защитной тужурочке, низенький товарищ Шустрый.

-- Давно из Москвы?

-- Третьего дня.

-- Ну, как там?

-- Ничего.

Разговор не клеится. Да Зудину, впрочем, не до разговора. Он пришел ведь сюда совсем не для того. И если Игнатьев чересчур благодушно подпер подбородок костлявой рукою и не делает попыток выпроводить Шустрого, пусть это будет новый прием, чтоб отделаться от объяснений насчет поступков Фомина,-- Зудина это уже не остановит, нет, не остановит. Хватит церемоний! Он сердито и твердо опускается в кресло перед столом.

-- Я приехал к вам, товарищ Игнатьев, -- говорит он сухо и намеренно громко, чтоб слушал и Шустрый,-- я приехал поставить вас в известность, что я покидаю свой пост! -- и он уже лезет в карман за телеграммой.

-- Мы это знаем,-- говорит спокойно Игнатьев.

"Знаем? Мы?" -- недоумевающе взвешивает в уме Зудин, обводя глазами обоих.

-- Тем лучше! Если ваши товарищи настолько искусны и планомерны в своей милой травле, что заранее предугадывают ее результаты, -- это делает кой-кому своеобразную честь! -- он язвительно усмехается. -- Я телеграфирую сейчас об уходе моем в Вечека и апеллирую в Оргбюро: пускай разберет.

-- Оргбюро это дело тоже уже знакомо, товарищ Зудин,-- сухим голоском сверлит Игнатьев,-- а вот как раз и посланный оттуда для разбора, -- товарищ Шустрый.

Шустрый, наслаждаясь впечатлением, протягивает ему свой мандат. Да, за подписями,-- чего уж там! -- важных лиц, он, Шустрый, командируется сюда с чрезвычайными полномочиями для разбора дела его, Зудина. И Зудин нервно подергивается. Им овладевает жуткая оторопь. Значит, враги его не дремали и не шутили,-- успели даже сочинить за спиной какое-то "дело". Поделом наивным простофилям, верящим в братскую честность старых товарищей по партии. Оказывается, и тут надо: на войне, как на войне!

Что-то привычно прочное, стародавне построенное в мировосприятии Зудина неожиданно стремительно рушится, рассыпаясь с грохотом и треском, точно падает старая большущая башня лесов, давно заготовленная для еще не начатого здания. И после обвала остается лишь груда серых обломков и облако пыли,-- тень сухой гордости.

-- Я готов! -- говорит он Шустрому высокомерно.-- Но предварительно я должен поставить вас в известность, что сейчас без моего ведома происходит разгром чека. Сегодня ночью арестовали двух моих сотрудников. Фомин даже не потрудился...

-- Фомин здесь ни при чем. Сотрудники арестованы мною! -- бойко отбивает Шустрый.-- Где б нам, товарищ Игнатьев, найти уединенную комнату, чтобы потолковать по душам, как говорится?! -- Шустрый фальшиво хихикает.

-- Комнаты здесь есть,-- Игнатьев нажимает кнопку, -- сейчас секретарь вам укажет.

-- Вот что,-- обращается Шустрый к Зудину а сам глядит на Игнатьева, -- дайте-ка мне взглянуть на ваш револьвер. -- И, получая от Зудина протянутый браунинг, он прячет его к себе в карман брюк.

-- Другого нет?

-- Нет.

Провожая Зудина к двери, он подбегает обратно к Игнатьеву и что-то шепчет ему торопливо на ухо. Тот кивает.

"Как все это гнусно! -- морщится Зудин,-- какая трогательная конспирация от меня, и как хитро все успели подготовить и в Цека и в Вечека. Ай, да Игнатьев. Но, погодите друзья, ставьте-ка ставки на кон сполна: будем играть начистую!"

Они проходят на третий этаж в пустую комнату, где стоит только стол и три стула, а через окна, выходящие на реку, видны обмазанные солнцем дома заречной слободки с каланчой.

Шустрый сам отпирает и тотчас же предусмотрительно запирает дверь комнаты даденным ему ключом, садится к столу и достает из портфеля ворох бумаг. Делает при этом вид, что сосредоточенно роется в них, для чего супит ярко-черные запятые бровей, которые вместе с черными быстрыми точками глаз резко подчеркивают желтизну лица и серебристую округлость коротко стриженной головы и подстриженных седых усиков.

-- В Цека поступило дело...-- вкрадчиво, как блудливая кошка, начинает Шустрый, мышеня глазами по столу, по бумагам и даже по рукаву Зудина, только труся забраться повыше, к зрачкам его взлохмаченных глаз.-- В Цека поступило дело о вас, о сущности которого вы, наверное, догадываетесь.

-- Я не отгадчик грязных сплетен.

-- А вот мы сейчас и выясним, сплетня это или что-нибудь другое. Вот мы сейчас и выясним,-- как бы посмеиваясь над Зудиным, благодушно щебечет Шустрый.-- Вот скажите мне, пожалуйста, товарищ Зудин,-- и это слово "товарищ" звучит здесь так фальшиво и обидно-ненужно, как холодная жаба, сунутая для озорства в раскрытую ладонь встречи, Зудин остро чувствует все это, и внутри его бьет, как дробь барабана, дрожь возмущенья.

-- Вот вы и скажите мне, пожалуйста, товарищ Зудин, сколько, когда и с кого именно удалось вам получить взяток?

Если бы в лицо Зудина выстрелили в упор, то дикий вывих неожиданного удара оказался б тусклее, чем этот вопрос. Все жилки лица подпрыгнули, ноздри раздулись, глаза закруглились винтами ненависти и презренья, но зубы поспешно прокусили упругие стеночки губ и зажали спирали движений в окаменелую стойку.

-- Ну-с, так как же, товарищ Зудин,-- благодушно трунит Шустрый,-- угодно вам будет дать прямо ответ или хотите сначала подумать?

-- Ваш вопрос я считаю позорной попыткой незаслуженно меня оскорбить,-- цедит Зудин упрямо сквозь зубы чьим-то чужим провалившимся голосом.

-- Ага, так, так,-- ласково посмеивается Шустрый.-- Я ведь совсем позабыл, что вы делец опытный. Ну, какой же дурак будет теперь брать взятки сам непосредственно, когда на этот предмет теперь существует институт секретарей, а главное -- секретарш? Удобный такой институт: прекрасная дева, так сказать, и дела подшивает и бумаги подкладывает,-- все честь честью,-- она же и постельной принадлежностью может служить при случае. А самое главное, через нее так удобно хапать себе в карман. Не так ли, товарищ Зудин?!

Смеется, танцует копотью глазок по оледенелым мыслям застывшего Зудина.

-- У меня нет секретарш, и вообще я не понимаю, на что вы намекаете. Если у вас имеются конкретные факты моих поступков, благоволите их мне предъявить. Это будет лучше, чем забавляться загадками,-- спокойно возражает Зудин, а сам думает: да уж не снится ль ему весь этот дурацкий, ералашливый сон?

-- Ах, так? Не пойман -- не вор? Ну, что ж, пойдем другим путем,-- все так же спокойно, как будто сам себе под нос, размышляет вслух Шустрый, смакуя допрос.-- Но вы не маленький и в партии не новичок и поэтому сами, конечно, понимаете, что отсутствие чистосердечного раскаяния и признания несколько иначе квалифицирует ваше преступление и совершенно иначе характеризует вас в глазах Цека. Значит я не ошибся.

-- При чем тут Цека?! -- злобно рвет Зудин, подмываемый новой волной бешенства и диким желаньем проломить этому стриженному идиоту его круглый, как бильярдный шар, череп.

-- Так ведь я разбираю это дело по поручению Цека! -- самодовольно вскидывает Шустрый.

И в жуткой оторопи опять колют Зудина обломки разрушенной башни лесов. Шустрый выуживает из портфеля лист бумаги и любовно-спокойно, как гробовщик, снимающий мерку с покойника, задает Зудину ряд обычных следственных вопросов: сколько лет, социальное положение и так далее и тому подобное, тут же записывая его ответы, монотонные, как жужжанье мухи в паутине.

-- Не помните ль вы случаев, когда вам приходилось принимать от кого-либо из ваших служащих какие-либо даяния, подарки, вещи?

-- Не помню.

-- Восхитительно. Так и запишем: не помню. Ну, а, например, от Вальц?

Густая краска заливает лицо Зудину. "Как это я об этом не вспомнил?! Черт знает, что получается",-- думает он.

-- Конечно, получение взяток вовсе не обязательно проделывать лично; удобнее это делать через кого-либо из домашних,-- трунит Шустрый.

-- Мне известно, что жена позволила себе раз без моего ведома принять от Вальц кое-какую мелочь, -- робко заикается Зудин, глотая слова,

-- "Без моего ведома!"-- это великолепно! Что ж вы не потрудились вернуть ей эту "мелочь" обратно?! Впрочем, это так, между прочим. Ну, а скажите, товарищ Зудин, что вы называете мелочью?! -- двадцать фунтов золота, например, вы тоже считаете мелочью?! -- и глазенки Шустрого опять закопались в бумаге.

Руки Зудина нервно трясутся, как на телеге. Мысли путаются. Отчетливо чувствует он приближенье какой-то змеиной опасности и силится встать со стула, а ноги подкашиваются. Вот последним усилием он сбрасывает с себя на стул пальто. Немного как будто бы легче.

-- Только теперь я начинаю понимать, что здесь какое-то кошмарное недоразумение на основе пустяковых фактов,-- с трудом выцеживает Зудин.-- Кем оно состряпано и зачем, надо разобраться. Я не был бы старым с 903 года неизменным членом партии, прошедшим тюрьму и ссылку, если б не верил в силу партии, в ее справедливость, в ее разум.

Шустрый зло улыбается.

-- Может быть, вы все-таки ответите прямо на вопрос: в получении каких именно даяний от Вальц и других лиц признаете вы себя виновным?

-- О, не беспокойтесь, я отвечу вам вполне искренне и чистосердечно.

-- Давно бы так. Только от степени вашей искренности и будет зависеть ваша дальнейшая судьба.

-- Меня мало интересует моя судьба. Я дорожу нашей судьбой.

-- Вот это уже гораздо лучше, и я это сейчас же отмечу в протоколе в ваш плюс. Итак?

-- Итак, я знаю, что жена приняла как-то раз от Вальц пару шелковых чулок себе... впрочем, кажется, две пары... наверное не помню,-- и Зудину вспоминается только жилистая нога полураздетой жены и снимаемый с ноги хрустящий чулок.-- Кроме того, она взяла от нее две пары детских чулочков и несколько плиточек шоколада, который поели ребятишки. Вот и все. Ни о каких других даяньях от Вальц или от кого-либо других мне не известно, и я таковых вещей не предполагаю.

-- Восхитительно. Сначала ни от кого ничего, потом оказывается -- от Вальц через жену. Сначала пару чулок, затем вспомнилась вторая пара, потом еще две. Благодатное устройство памяти! Но это, впрочем, так, к слову.

-- Знаете что, товарищ Южанин! -- старая прежняя партийная фамилия Шустрого была Южанин, и она почему-то отчетливо пришлась Зудину на язык.-- Я -- старый большевик: никогда ни до этого, ни после этого никем другим не был и не буду, и говорю вам вполне искренне и убежденно и как товарищу и как представителю Цека. Неугодно верить -- ваше дело.

Шустрый, задетый, барабанит пальцами.

-- А я вот, как вам известно, был когда-то меньшевиком, но знаете ли, ни тогда, ни теперь никаких взяточек ни лично, ни через близких, ни конфектами, ни золотом не брал. Так-то вот-с. Но это так, между прочим. Ну, а все-таки, как же насчет золота? Изволили получать или не изволили?

-- Еще раз заявляю: никакого золота я не брал и...

-- А ваша жена?

Чудовищное подозренье вдруг высовывает Зудину свой длинный багровый язык. А что, если в самом деле вдруг жена... Лиза?!

-- Нет, это невозможно, не может быть!..-- мычит себе под нос растерянно Зудин.

-- И вы ручаетесь?

Ручается ли он? Он пожимает плечами, напрасно шаря растерянным взглядом поддержки на тусклых холодных стенах.

-- Значит не можете поручиться? Это более предусмотрительно! -- и Шустрый записывает.

"Прожженный журналист! -- думает почему-то Зудин, и его тошнит от какого-то неприятного резкого запаха прогорклого табаку и псины, который, как ему кажется, источает спокойный Шустрый.-- О, этот медный лоб не тронет никакая "трагедия!"

-- Ну-с, а что вам известно относительно Павлова? Он с вами или, виноват, с вашей женой ничем не делился? Или вы запамятовали? Или тоже не можете ручаться?

Зудин снова прикусывает до крови губу и несколько секунд молчит.

-- Повторяю раз навсегда, что, кроме приведенного уже мною случая, получение моею женой каких-либо вещей или денег от кого-либо другого мне совершенно неизвестно и представляется невероятным, поскольку я знаю мою жену и верю ей. Так и прошу вас записать.

-- А не припомните ли вы, не настаивал ли перед вами Кацман на немедленном увольнении Павлова и Вальц и не противились ли вы этому?

Зудин силится припомнить.

-- Не припомните? А вот товарищ Фомин это определенно показывает со слов покойного Кацмана. Какой бы им расчет врать?

-- Относительно Павлова я припоминаю, что подозрение в нечистоте его поступков, в частности в связи с делом Бочаркина, зародилось впервые у меня, и я тотчас же первый поделился этим с товарищем Кацманом. Как будто бы некоторое время спустя у меня был даже на эту тему с ним же более подробный разговор, и он даже высказал предположение о необходимости уволить Павлова и, как кажется, Вальц.

-- "Как кажется?"

-- Да, "как кажется", -- покраснел Зудин. -- Я ему ответил, что относительно Павлова я согласен, потому что к этому времени открылись какие-то другие его махинации в деле о бриллиантах, а насчет Вальц я нашел доводы его необоснованными, с чем Кацман сам согласился.

-- Ну, конечно, "необоснованными" после подарочков супруге!.. Впрочем, это я так, к слову. Вы не обращайте вниманья... Ну-с, значит относительно Вальц вы были не согласны, а относительно Павлова вполне согласны? Так и запишем... Не можете ли вы теперь мне объяснить, почему же все-таки, несмотря на все это, Павлов так и остался не уволенным? Павлов-то!

"Почему, в самом деле, я его не уволил?-- думает Зудин и не находит ответа.

-- Это моя ошибка, моя вина,-- шепчет он подавленно и виновато,-- просто заработался и позабыл, а тут еще как раз убийство Кацмана совпало: было не до того.

-- Восхитительно! Ну-с, товарищ Зудин, а не дадите ли вы мне ответ, в каких отношениях находились вы с Вальц? Я спрашиваю, разумеется, о половых отношениях.

-- Я полагал бы, что это не имеет отношения...

-- Ах, вы так полагаете?! Что ж, давайте и это запишем. А все-таки я буду настаивать и на категорическом ответе.

-- Между мною и Вальц не было близких отношений.

-- Так что нахождение рядышком ночью вместе на диване, как показывает ваша курьерша, вы не находите достаточно "близким"? Так вас прикажете понимать?

-- Какая, однако, мерзкая гнусность! -- еле владеет собою Зудин, опять весь красный от стыда и от гнева.-- Я сказал то, что сказал: больше распространяться на эту тему я не желаю.

-- Восхитительно! Ну, а не помните ли вы случаев хранения у себя в кабинете конфискованных вин, распития таковых или выдачи кому либо из сослуживцев, подчиненных? Вот Павлов показывает, например, что найденные у него на квартире вина взяты им из вашего кабинета. Что вы на это скажете?

-- Вина случайно попадали в кабинет вместе с другими вещами после обысков. Я их не пил и никому не давал. Хотя припоминаю, впрочем, что однажды, сильно устав, я выпил для бодрости бутылку какого-то легкого виноградного вина. Каким образом вино могло попасть к Павлову, я не знаю: кабинет всегда заперт, а ключ у курьерши.

Шустрый молниеносно записывает.

-- Ну-с, с меня вполне достаточно. Не угодно ли все прочесть и скрепить своею подписью! -- и, подсовывая ему исписанный лист, он утомленно потягивается и расправляет руки. Потом его маленькая фигурка выбегает к двери и кого-то зовет из коридора,

-- Славный вы мужик, товарищ Зудин, напрасно только изволили первоначально со мной хитрить.

-- Я?.. хитрить!

-- Да уж не оправдывайтесь, не оправдывайтесь! Впрочем, это мое личное мнение, а решение по делу вынесет чрезвычайная комиссия судебная, которая на днях приедет, и доклад которой мне поручено сделать. Мое дело маленькое: быть строго объективным. Вы сами видели, что я записал все, что, по моему мнению, говорит против вас, а также и то, что говорит в вашу пользу. Я строго объективен. Ну, а пока все-таки позвольте считать вас арестованным и взять под стражу.

Как ни предчувствовал все это Зудин, обида и горечь раскрыли в нем свой едкий цветок.

-- Я никуда не убегу,-- ухмыльнулся он.-- Ну, а свиданье с семьей, надеюсь, вы мне разрешите!

-- Ни в коем случае! Письма писать можете, а содержаться будете здесь, вот в этой комнате. Вы не волнуйтесь: окончательное решение -- дело всего нескольких дней, двух--трех, не более. А после этого -- это уж как взглянет комиссия. Мое дело -- быть только беспристрастным докладчиком. Поэтому, если еще что припомните в свое оправданье, пишите и посылайте мне через секретаря Игнатьева. Бумагу и карандаш я прикажу вам дать. Столовой будете пользоваться здесь же в Исполкоме.

Шустрый исчез, а Зудин мутным сереющим взглядом глядит безотчетно на окна, на солнечный вид далекой набережной. Окна совершенно квадратные, придают этой невысокой просторной комнате какой-то пустынный уют мезонина, светелки. За окнами по реке медленно движутся глыбы льдин, точно ползут чьи-то поломанные зубы. А еще дальше, за рекой сухо желтеют на солнце двухэтажные деревянные коробки-дома пригородной рабочей слободки. И все, что только что происходило ужасного, никогда в жизни Зудина не бывавшего, теперь внезапно куда-то ушло и осело в кубовых ямах души, а на поверхности вьется ощущенье какой-то мальчишеской легкости, как будто слесарня, куда надо было постоянно спешить, вдруг оказалась закрытой на замок, и можно теперь вволю, ни о чем не заботясь, беспечно проказить. Сразу же стало легко, воздушно, просторно. И Зудин сияет весь внутренним светом какого-то мягкого, теплого чувства.

Но это не долго. Стуча каблуками, приходит часовой с разводящим, неприязненно и пытливо оглядывает и его и комнату, подходят к окнам, смотрят запоры и потом так же бесцеремонно уходят, после чего часовой остается в коридоре у самой двери, брякнув прикладом о пол.

Потом две служительницы из столовой, в белых передниках, раскрывают обе половинки дверей и вносят железную кровать с набитым соломой серым матрацем. Возвращаясь, приносят простынку из бязи, натыканную соломой подушку и жесткое одеяло. Спрашивают, не хочет ли он есть. Нет, есть он не хочет, а хочет, чтобы ему принесли карандаш и бумаги.

Карандаш и бумагу приносит сам секретарь Игнатьева. Под навесом его ресниц притаилась подавленно неловкость смущенья, отчего в сердце Зудина становится еще горчее.

-- Я напишу письмо жене и попрошу вас, как можно скорее, отправить его на квартиру. Это будет возможно?

-- Да в 6 часов хотел прийти товарищ Шустрый. Он посмотрит и, наверное, сейчас же отправит.

-- Благодарю вас.

Зудину нестерпимо хочется, чтобы все поскорее оставили его одного наедине с набухшими мыслями налетевших событий, которые, клубясь и вырастая, как свинцовые скалы грозовых туч, вновь надвинулись и обвисли над его растревоженным сердцем.

Он садится на скрипучую кровать с хрустящим матрацем, хватаясь за виски обеими руками.

"Надо успокоиться и разобраться. В чем же его, в конце концов, обвиняют? Одно несомненно, что Павлов и Вальц в чем-то попались. Но в чем? О каком золоте шла речь? Кто его взял? Павлов? Но тогда при чем тут он, Зудин? Что его не уволил? Да, это было ужасным упущеньем. Или, быть может, золото взяла Вальц? И быть может, уже поделилась с Лизой? И та взяла?.."

Быстрый жар ужаса охватывает Зудина. Он конвульсивно корчится, и дыханье его болезненно спирается в груди. Отчетливо представляется, что может ожидать за это Лизу. Если это только случилось! Если это только случилось! Ох, если бы этого не было! Если бы все это оказалось только пустыми сомнениями! Неужели Лиза не понимала этого?!

Он пристально копается в ее душе. "Нет, нет, Лиза этого не сделает, не может сделать; у нее, все же, должно быть рабочее чутье, совесть классовой борьбы. Ведь, как-никак, а она коммунистка!"

Он снисходительно улыбается, осознавая всю ее былиночную слабость и отсутствие твердокаменности. "Да и откуда таковой появиться? Практики активной борьбы у нее нет, да и быть не могло. Она дочь своего класса, но она и жена своего мужа и мать своих детей. Если положить на весы решений и то и другое -- последние два перетянут. И никого нельзя в этом винить: терпеливая закабаленность женщин на цепи простейших чувств и инстинктов переходит у них по наследству под вековечным производственным гнетом мужчины, и трудно что-либо тут сразу поделать!"-- думает Зудин.

"Но неужели за это ее расстреляют?"-- На его голове шевелятся волосы как ковыль. Он вспоминает тихую, скромную улыбочку Лизы, Лизы-девушки, Лизы в платочке и в ямочках на пухленьких щечках. Стояла такая же весна, когда -- весь полный неловкого стесненья и каких-то невыплаканных, счастливых, грустных слез -- он, стараясь быть нежным, словно боясь измять робкий пушистый цветочек, неловко взял ее за шершавые, исколотые пальчики и заглянул в ее сочные серые глазки.

-- Лизочка! Будемте жить вместе, вместе бороться, вместе страдать, вместе любить, как муж и жена.

Как давно, ах, как давно это было!

Плечи Зудина никнут в истоме далеких чувствительных припоминаний.

Ну, а потом? Сдержал ли потом он свое слово?

Нет, он увидел, что жестоко ошибся. Лиза оказалась верною, любящей, нежной женою -- но и только. Он позабыл, что за ней был тысячевековый хвост бессловесной рабыни, а он ведь был дерзким властелином-мужчиной, хватающим молнии. Разве могла она понимать все чувства его устремлений, радостей и горестей его борьбы, если стряпня, детский писк и крошечный, узенький мирок их убогой конурки стал отныне ее тесной клеткой, по прутьям которой больно хлестал бурный шквал свирепого житейского моря. Он в нем плавал. Он боролся с засученными рукавами и стальною пружиною в серых глазах. А к Лизе он приходил лишь отдышаться, поесть, посмотреть на забавных бутузов, которые, выпучив наивные шарики глазок, тянулись ручонками... к папе. И было досадно замечать, как уходил от нее он куда-то все дальше и дальше, а Лиза оставалась одна одиноко на мертвом объеденном месте... И щечки поблекли, потух огонечек в глазах, спина стала суше и сутулей. Он обманул, и чем дальше, тем глубже росла эта ложь. Как он понимает это только теперь неожиданно ясно, отчетливо, что он ее обманул бесстыдно и нагло, безотчетно воспользовавшись ее беспомощностью, ее женской глупостью и женской любовью. Оркестр дивной любви, о которой мечтал он, оказался плаксивой шарманкой.

Если ее вот теперь поведут на расстрел,-- это он, только он -- ее убийца!

Его шея трясется от страданья и жалости.

Но разве мог он поступить иначе? Променять борьбу и страданья свои за счастье всего человечества, за счастье всего мира -- на канареечную заботливость о любящей самочке? Не чересчур ли много и так уже он заплатил тем, что вообще связался семьей, что ради голодного писка детишек,-- как хорошо было бы, если бы у рабочих совсем не бывало детей! -- приходилось нередко, стыдливо потупя глаза, опускать занесенную для удара руку, и взмахи рабочего молота в его внезапно обмякших ладонях превращались в боязливую щекотку кого-то огромного, хохочущего, с коричневым раздувшимся в целый мир животом и с головою, ушедшей отвислыми округлостями щек за облака.

Кто виноват?-- Это он, ненасытный, распухший Молох, сидящий в моче и крови. О, как бы хотелось Зудину сделаться маленькой, маленькой... пчелкой?.. пулей?.. нет, тончайшею острой стальною иголочкой, чтобы совсем незаметно вдруг пропасть и торжествующе впиться в самую нежную середочку мозга чудовища, чтобы оно вдруг качнулось, обмякло и, пузырясь, как проткнутый шар, с шумом свистящим распласталось бы и сделалось легким под говор веселый обрадованных этим людей.

"Детские картинки. Дело куда посерьезней. Лиза все-таки пропала!"

Но что, если никакого золота она не брала?-- Зудин даже встает от радости и делает несколько шагов к окнам.-- Неужели же все-таки ей придется жестоко ответить за то, что взяла чулки, за то, что взяла шоколад, за то, что ни черта не смыслит в политике и осталася любящей матерью и желающей нравиться мужу женой?! Какой-то проклятый, заколдованный беличий круг! И как это дико вышло с показаньем:

-- Взяла без моего ведома.

Что значит "без моего ведома"?! Раз он узнал и ограничился только выговором, значит взял он, а не жена. Почему он так нелепо сказал? Неужели же струсил за себя? Надо сейчас же написать ей об этом, чтобы она, когда будут ее допрашивать, исправила бы эту ошибку.

Но вспомнил, что письмо пойдет через Шустрого. И стало досадно, что надо снова хитрить и изворачиваться. От кого? От товарищей, с которыми работал всю жизнь. Он опустил голову и начал рассматривать пыльный паркет пола. Потом посмотрел на окно и снова увидел лазурное небо, белую рыхлость плывущих льдин и желтые дома на той стороне реки, играющие оконными поцелуями заходящего солнца. Взглянул на часы на руке.

"Черт знает что! Уже шесть. Шустрый, наверно, пришел и может сейчас уйти. Надо спешить с письмом к Лизе".

О чем же писать? Как писать? Или совсем не писать? Пускай все течет так же спокойно и грозно, как эта величавая разметавшая стеклянные космы река, сама не знающая ни своих законов, ни своей цели. Тепло ей от солнца -- и грозно рокочет она переливами струй; опустится синяя ночь -- и она успокоится и, цепенея, стыдливо застынет.

Но ведь он не вернется скоро домой -- может быть, никогда. Что может подумать она, одинокая, жалкая, с парой ребят? А если досужий язык ей плеснет помоями небылиц про него, про какое-то золото, про вино, про любовницу Вальц?! Что предстоит ей только передумать, пережить! Для чего же эта лишняя тяжесть едких, сверлящих мучений, если ее можно так легко скинуть с протянутой жалкой ручонки?!

Зудин садится к столу и решительно пишет:

"Милая Лиза!

Нелепый случай и следствие относительно каких-то обнаруженных преступлений Павлова и Вальц задержат меня на несколько коротеньких дней под домашним арестом в Исполкоме. Ты не тоскуй и не волнуйся. Куча вздорных обвинений, которые мне предъявляются по поводу какого-то золота, вина и даже любовных интрижек,-- разлетятся, как дым. Нужна бодрость и терпенье. Не унывай, крепись и целуй за меня ребятишек. Вальц впутала сюда взятые нами чулки и шоколад. Все это, конечно, сущий вздор.

Целую тебя крепко, крепко. До скорого свиданья.

Твой Алексей".

"Надо врать, нагло врать",-- решительно думает он, ставя точку. Потом свертывает письмо, как порошковый конвертик, и просит часового за дверью позвать секретаря. Часовой, делая несколько робких неуклюжих шагов,

стучит в какую-то ближнюю дверь. После долгого, томительного ожиданья, все же, приходит какой-то посыльный.

-- Только, пожалуйста, вы передайте это письмо как можно скорее секретарю товарища Игнатьева. Оно очень срочное.

Посыльный кивает головой, удаляясь. А Зудин останавливается и стоит, как каменный столб на перекрестке пыльных дорог, безучастно смотря исподлобья на палевые крылья вечернего сумрака, поднимающегося над блекнущей в сизых туманах рекой.

VI

Пять дней сидел Зудин одиноко, и никто его не навещал, никто к нему не приходил. Порой ему казалось, что про него все забыли в сутолоке нервных мелочей и в гуле гражданской войны. Где-то, быть может совсем недалеко, лихим галопом носились от одной деревни к другой, то наступая, то отступая, сухие и жилистые генералы в пыльных кителях и золоченых погонах. Кто-то приземистый, черный, сутулый сплошными стаями перебегал неуклюже полями от одного горизонта к другому, наивно прячась за прозрачные кусты и падая на землю от укусов невидимых жал, разворачиваясь замертво согнутыми коленями и скрюченными кистями узловатых пальцев.

Газет Зудину не давали. Ежедневно приносили обед, которого часто он не трогал совсем. Зудин похудел и осунулся, его глаза и щеки по-стариковски ввалились. И вел он уж совсем беспорядочную жизнь: не раздеваясь, когда попало засыпая, когда попало вставая, еле ловя очертания суток и часто теряясь -- что же сейчас, утро или вечер. Тогда он подходил к окну и по освещению солнца, если только оно сияло, давал себе ответ. А потом безразлично смотрел на пыльную охру заречных домишек или на мертвые огоньки в их окошках, застывшие в ночи. Опуская глаза совсем вниз и садясь на широкий и низкий подоконник, он видел кусочек сада под окнами с остриженными черными сучьями серых тополей, с блеклыми полянками, лохматыми от прошлогодней прелой травы и сухих листьев. Сад упирался в каменную желтую стену, вдоль которой под окнами ходил взад и вперед часовой. Значит о нем не забыли.

Иногда он прислушивался, что делалось там, в покинутом мире. И казалось ему, что тогда дребезжали стекла от дальних пушечных выстрелов.

Как-то раз дверь растворилась, и он слышал несущиеся гулким коридором откуда-то снизу глухие крики и шум, будто близкий прибой почерневшего моря.

-- Заседанье Совета...-- сказала служанка, принесшая ужин,-- меньшевики и эсэры скандалят. Требуют роспуска чеки. А в городе забастовки из-за пайков. Рабочие отказались идти на позиции. Уже взяты Крастилицы. Коммунисты все мобилизованы. А сколько курсантов понаехало! И все на фронт!..-- все на фронт!..-- и шепотом на ухо:-- Говорят, что рабочие хотят бунтовать... Может, вас тогда и выпустят...

Зудин скрипнул зубами и тяжело вздохнул.

На пятый день, совсем неожиданно, вечером, когда уже смеркалось и только что дали электрический свет, вбежал в комнату Шустрый в своей тужурочке и кинул:

-- Пойдемте!

И они побрели, сопровождаемые часовым, по коридору совсем недалеко, в комнату, где уже сидели за столом давно знакомые Зудину люди, с лицами, напудренными теперь серьезностью. Старый работник партии Ткачеев, которого Зудин близко и лично знал мало, но с которым нередко встречался раньше на съездах,-- теперь первым бросался в глаза своею спокойной и благообразной фигурой смакующего свое достоинство старообрядческого начетчика, с расчесанной широкой бородой, закрывшей досчатую грудь и живот. Ткачеев спокойно вскинул на вошедших своими круглыми глазами и так же спокойно и смиренномудренно опустил их на стол. С другого края стола сидел старинный приятель Зудина, токарь по металлу, Вася Щеглов. Его лицо, действительно, было птичьим, маленьким, вздернутым, с мягким хохолочком белых волос, а на тонкой длинной шее шариком бегал кадык. Между этими двумя, посредине стола сидел он, сам грозный товарищ Степан. Тонкий сухой нос как будто бы вечно шарил воздух; глубоко запавшие выбоины щек натянули своей худобой костяки скул возле в мешочках защуренных вдумчивых глаз; кривой клинышек редкой бородки и жидкие волосы головы дополняли портрет. И во всех трех, молчаливо сидящих, было для Зудина что-то зловеще извечное, как индусская троица. Только сидящий за листами бумаги напротив них кто-то молодой и тусклый, в каком-то потертом линяющем френче, низводил мистическую святость синклита в скучный шелест секретарской прозы.

Зудин сделал было движение поздороваться за руки, но подумал, что это поймут, как заискивающее сюсюканье, и поэтому смущенно кивнул головой, молча и неловко сел на указанный взглядами стул. А на другой узкой стороне стола против него, сбросив куртку и хлопнув портфелем о стол, уселся воинственный Шустрый.

Степан, не глядя ни на кого, продолжал рисовать на лежащем перед ним листе бумаги какие-то завитушки, а Щеглов все время старался отделаться от надорванной смущенной улыбки, бегая растерянными глазами по сторонам, как бы радуясь, что наконец-то встретил своего старого друга Зудина, и в то же время будто пугаясь гулких шагов нарастающей ответственности в чьей-то судьбе. Наконец, перестав рисовать, Степан перевел глаза на Шустрого, да так почти и не сводил их, пока тот говорил. Щеглов все сконфуженнее и рабочее прыгал мальчишескими глазенками с Шустрого на Зудина, и только Ткачеев, как статуя Будды, смотрел опущенным взглядом сквозь стол.

-- Настоящее дело, товарищи,-- начал Шустрый, картинно качаясь на стуле и бросая горох колких взглядов на Зудина,-- настоящее дело является необычным в практике нашей партийной жизни и революционной борьбы.

Руками он держался за листы бумаг, которые быстро время от времени перебрасывал, низко склоняясь над ними, чтобы сейчас же вслед за этим буравить смолистым огнем убежденнейших глаз то Степана, то Зудина. И голос его звенел и бился в пустынных углах потолка, как в степи колокольчик.

-- Перед вами сидит здесь не рядовой работник, не неопытный юнец, а один из старейших членов партии, революционер с 1903 года,-- растягивает Шустрый,-- и вот, в ответственный момент революции этот герой дошел до того, что, находясь на важнейшем советском и партийном посту, каковым является должность председателя губчека, он из грязных, своекорыстных целей обманул данное ему доверие рабочего класса, развратил и разложил вверенный ему аппарат бдительного ока пролетарской диктатуры, сам первый подав кошмарный пример хищного взяточничества, разврата, пьянства и окружив себя достойными сподвижниками из агентов наших злейших контрреволюционных врагов. Еще очень многое из деяний гражданина Зудина следствием не раскрыто, но и того, что обнаружено, вполне достаточно, чтобы не оттягивать дальше ваш справедливый революционный приговор...

... Я извиняюсь, что несколько горячусь и немножечко выхожу из роли объективного докладчика,-- мямлит Шустрый, потупясь и, очевидно словив что-то во взгляде Степана,-- но, товарищи, когда приходится говорить о подобных омерзительных вещах, трудно удержаться от возмущения!

... Из собранных мною весьма подробных показаний целого ряда лиц, в том числе самого Зудина и его соучастников, бесспорно устанавливается тот факт, что Зудин, использовав свою неограниченную власть председателя губчека, принял на службу и приблизил к себе, на правах секретарши и любовницы, явно активную контрреволюционерку, гражданку Елену Вальц, до этого арестованную чека и подлежавшую расстрелу. Находясь с ней в связи и всячески ей покровительствуя, Зудин не мог, разумеется, не знать о сношениях Вальц с опаснейшим английским шпионом и организатором белогвардейских выступлений, мистером Эдвардом Хеккеем, которого Вечека усиленно и безрезультатно разыскивает в то время, как он преспокойно, по крайней мере дважды, ночует у Вальц, в чем она сама вынуждена была сознаться. Хеккей в настоящий момент успел скрыться, и поэтому целый ряд недавних зверских убийств наших ответственейших товарищей, и, во всяком случае, последнее убийство честнейшего товарища Кацмана произошло, мягко выражаясь, не без косвенного участия гражданина Зудина. Подобной чудовищнейшей провокации еще не видывал мир. Но гражданин Зудин далеко не ограничился этим. Изменив партии и революции и предав на смерть своих старых, веривших ему, товарищей, Зудин обнаружил, что в этих кошмарных мерзостях он менее всего руководствовался политическими соображениями, хотя и таковые, безусловно, для всех нас здесь очевидны. Основною целью Зудина было использовать свою власть и данное ему доверие в целях личного обогащения. Как вполне объективный докладчик, я должен констатировать, что Зудин не ограничился получением от своей верной сообщницы Вальц, служившей ему удобным орудием всех его преступлений, -- о, насчет этого Зудин весьма хитер и предусмотрителен! -- он не ограничился первоначальными взятками из предметов домашнего обихода и продовольствия, которые Вальц покупала на получаемые ею для него взятки, которыми она таким образом делилась со своим любовником и руководителем Зудиным, как это было, например, с женскими шелковыми чулками для жены Зудина. Иногда Вальц передавала Зудину полученные ею от белогвардейцев вещи в натуре, как это было, например, с шоколадом, полученным ею в количестве полпуда, от того же английского шпиона Хеккея. Но, я повторяю, Зудин не ограничился этим. По его наущению, Вальц шантажирует семью крупного золотопромышленника Чоткина, сын которого был совершенно без всяких оснований по ордеру Зудина арестован и сидел в чека почти четыре месяца. Угрожая расстрелом Чоткина-сына, Вальц вымогает для Зудина у стариков Чоткиных двадцать фунтов золота в вещах и монетах. Хотя Вальц и отрицает теперь какое-либо касательство Зудина к этому вымогательству, однако таковое вполне устанавливается тем фактом, что, во-первых, Чоткин был освобожден единоличным распоряжением Зудина как раз в день убийства товарища Кацмана, после того как Вальц накануне сторговалась с родителями Чоткина о сумме взятки, а во-вторых, по распоряжению того же Зудина начальником канцелярии губчека, Шаленко, был выдан Вальц на руки совсем необычный дубликат ордера на освобождение Чоткина-сына, конечно, в целях шантажирования его отца, и, наконец, в-третьих, полученные двадцать фунтов золота были тоже безусловно переданы Зудину и умело им скрыты, так как Вальц этого золота уже не нашла и она теперь путается в своих объяснениях, голословно уверяя, что у ней его выкрали в ее отсутствие из-под кровати. Кроме того, вполне логично и естественно, что взяточничество Зудина не могло остановиться на одних шелковых чулочках и шоколаде, о котором, как оказывается, благодаря болтливости Вальц, знали почти все служащие чрезвычайки, но только молчали, терроризованные Зудиным,-- об этом будет речь впереди. Кстати, сам Зудин на допросе пробовал первоначально отрицать получение им и чулок, и шоколада, и золота, но потом, вследствие явных улик, вынужден был сознаться в "принятии", как он выразился, им или его женой,-- Зудин пытается теперь все свалить на жену,-- так теперь он вынужден был признаться в получении через Вальц взяток и шелковыми чулками и золотом.

-- Золотом? -- тихо выпячивает трясущиеся губы Зудин.

-- То есть, виноват, оговорился,-- шоколадом, а не золотом. Получение золота Зудин пока что отрицает.

Зудин ежится. О чем он думает? Он не думает ни о чем. На его побелевшем лице возле раскрытого рта играет жалкая улыбка растерянности и безнадежья. Он только ощущает совершенно подсознательно, что вот шел он, такой уверенный в себе, по твердой тяжелой тропинке и вдруг упал, провалился совсем неожиданно в самое нутро какого-то гигантского внезапного водопада и теперь вот летит вместе с ним стремительно в темную бездну, оглушенный хаосом и ревом необъятной стихии, и даже не пытаясь схватиться за мелькающие острые выступы царапающих его скал, потому что самые впечатления о них возникают в его сознаньи слишком поздно, после того,

как он уже промчался мимо. Теперь он ни о чем не думает. Он ощущает полную беспомощность, страх, память о ясном сознаньи, оставленном где-то там, наверху, и несущуюся навстречу смерть там, в зловещем низу.

Ему кажется, что порою по нему липко бродят чьи-то упрямые взгляды: может быть, что-то шарящих прищурок товарища Степана, а может быть, загнанный взгляд жалко покрасневшего друга Щеглова. Или это скрипящий пером секретарь украдкой мигает на него желторото своими круглыми, безучастно удивленными глазами совы, разбуженной уличным любопытством. Зудину некогда это осознавать. Его опрокинул и несет ураганный поток речи Шустрого.

-- Да, товарищи, как докладчик, старающийся быть объективным,-- продолжает, тот, обводя всех клокочущим взором,-- я должен, однако, констатировать, и уж ваше дело будет согласиться с моим убежденьем или нет, что гражданин Зудин глубоко неискренний человек.

-- Как?.. Искренний?-- переспрашивает Степан, не расслышав.

-- Глубоко неискренний человек! -- подчеркивает громче и внятнее Шустрый, и чувствует Зудин, как острие взгляда товарища Степана опять оцарапало его лицо.

-- Неискренний человек! -- качает головою Шустрый.-- Я уже высказал это убежденье в лицо гражданину Зудину, он не станет этого отрицать. В самом деле, он не ограничился услугами одной Вальц, которая, как чистейшая белогвардейка, была для него удобней других. Но он не ограничился ею. Под его покровительством набилась в губчека всякая шваль, взяточники, шулера и вообще разные проходимцы самой темной репутации, которые, конечно, тормозили и свели на нет всю работу честных товарищей, имевших несчастье работать вместе с Зудиным. Чтобы не быть голословным, я приведу хоть того же Павлова, явного взяточника и шантажиста, пытавшегося вымогать крупнейшие суммы с арестованных, содержащихся по передаваемым ему следственным делам, и, разумеется, тоже, очевидно, делившегося с Зудиным. Он теперь арестован так же, как и Вальц. О личности этого Павлова Зудин был великолепно осведомлен покойным Кацманом, как о том свидетельствует товарищ Фомин, да и сам Зудин теперь этого не отрицает; более того, уверяет даже, что это он, Зудин, первый возбудил подозрение у Кацмана против Павлова. Наглая ложь Зудина вполне изобличается тем, что, во-первых, он все же не уволил Павлова из губчека, что было ему облегчено смертью Кацмана, как раз настаивавшего на увольнении Павлова, а во-вторых, даже теперь, после ареста Павлова и Вальц, Зудин пытался протестовать против этого ареста обоих этих героев: и Павлова и Вальц, называя это при мне в кабинете Игнатьева,-- как бы вы думали, чем?-- "разгромом чека!" В деле имеется соответствующее показание Игнатьева, да я думаю, что и сам Зудин не станет этого отрицать. Но, товарищи, жадный и предательский характер Зудина отличался, кроме того, звериным упрямством и жестокостью. Несмотря на то, что он сам являлся главнейшим косвенным пособником убийства товарища Кацмана, это не помешало ему с разбойничьей настойчивостью провести через подавленную им коллегию губчека постановление о расстреле ста наиболее видных, но в большинстве случаев ни в чем не повинных буржуев, арестованных губчека. Не приходится пояснять, что подобный акт явился лучшим способом агитации против советской власти среди обывательских кругов.

-- Чего же вы теперь хотите? -- произносит вслух Зудин.

-- Торжества революционной справедливости, больше ничего!

-- Но разве такая существует?!

-- Это мы посмотрим!.. что ж еще? Я боюсь, что уже и так утомил товарищей чересчур длинной речью по существу такого весьма ясного и простого дела, поражающего только чудовищностью преступления, вследствие редкого случая, что субъектом такого является весьма ответственный партийный, бывший товарищ. Поэтому я не стану дополнять мой доклад упоминанием об оргиях с конфискованными винами, погреб которых находился у Зудина в кабинете, причем тот же Павлов ухитрялся пользоваться ими же, несмотря на то, что кабинет, по словам Зудина, в его отсутствие был постоянно заперт на ключ. Не буду упоминать и о любовных похождениях Зудина с Вальц на диване его кабинета, случайной свидетельницей чего была курьерша, слышавшая через дверь часть их разговора. Все это только более мелкие характерные штрихи главной сути дела.

Наступило продолжительное и тяжелое молчанье. Все взглянули на Зудина.

-- Угодно вам дать объяснения?-- спросил Степан.

-- Да, да, конечно! -- спохватился, волнуясь, как бы только что проснувшийся Зудин.

-- Только, чтоб эти объяснения не превратились в пустое оттягиванье времени. Надо ограничить срок,-- буркнул Шустрый,

-- Да, да, мы увидим там, -- недовольно поморщась, отмахнулся Степан.-- Итак, мы вас слушаем,-- обратился он к Зудину.

Но у того мысль, всегда такая живая и ясная, теперь валялась, как тряпка.-- "С чего начать?"

-- Товарищи,-- трясется он,-- вы можете, конечно, мне верить и не верить, но я буду с вами всегда откровенен, как и вообще был всегда откровенным. Неужели долгие годы нашей совместной работы в подпольи и сейчас не будут для вас доказательством моей правдивости?!

Зудин чувствует, что говорит какую-то нескладную ерунду, совсем не то, что заранее мысленно предполагал сказать в этом случае, ожидая суда. И бесит его веселый злорадный взгляд упивающегося его растерянностью Шустрого.

-- Вашего прошлого мы просим не касаться. Оно нам всем достаточно известно. Мы просим дать ясные и краткие объяснения по существу предъявленных вам докладчиком обвинений. Признаете ли вы себя виновным или нет?-- вдруг холодным твердым голосом обливает его товарищ Степан.

-- Да, да, сейчас, сейчас,-- еще более теряется Зудин, чувствуя, как всего его охватывает панический страх,-- ужас не перед трагическим концом его жизни, который несется, как бешеный поезд, навстречу, с отчетливостью быстро растущих огненных глаз катастрофы,-- а ужас боязни, что он так и останется совсем, совсем одиноким, что его не поймут, что он не сумеет так быстро высказать им, торопящимся, всю свою правоту, или его оборвут на полуслове.-- И зачем так медлен, нищ и неуклюж распухший человеческий язык!

Зудин понимает, что ему нужно вот, вот сейчас же, немедля, собраться с последними силами, со всеми мыслями всей своей жизни, напрячься и ринуться отчаянным ударом против чего-то густого, бесконечно тяжелого и ненавистного, которое давило его всю его долгую-долгую жизнь, начиная с тех пор, когда он был еще крошечной, беспечной и юркой личинкой. И вот, наконец-то, теперь навалилось оно на него совершенно вплотную, чтобы растереть, как пятно, без остатка. Но против кого кинуться? Кругом ведь все свои же близкие, родные товарищи, даже этот брызжущий торжеством злобы Шустрый. Так значит остается погибнуть, даже не пискнув о своей правоте, не крикнув зарезанным голосом на всю ширь человечьего мира, загораясь мечтовой надеждой, что найдется где-нибудь чуткий жалобный отзвук, хотя бы пока потаенно затерянный в слепых еще зернах, имеющих в будущем лишь народиться новых людей со свежими бурями чувств, со свежими родниками мозгов?!

-- Я не виновен,-- твердо говорит Зудин.-- Я не виновен! -- повторяет он настойчивей, и голос его начинает звучать все прямее и крепче, и его слова впиваются в уши слушателей, как острые раскаленные клещи.-- Это неправда, что Вальц была моей любовницей, что она подлежала расстрелу и я ее спас из-за страсти к ней. Все это неправда. Она была арестована, как случайно замешанная в савинковском заговоре его агента Финикова, но к нему непричастная, по глубокому моему убеждению. Мне ее стало очень жалко. Я думал, что честная служба ей поможет стать на ноги, просто, как человеку, и стряхнуть с себя паутину подлого буржуазного быта. Но значит я ошибся. Шоколад оказался сильнее.

-- Что оказалось сильнее?! -- переспросили все.

-- Шоколад! -- усмехнулся Шустрый.

-- Да, шоколад. Он оказался сильнее... О том, что она имела отношение к Хеккею, в первый раз сейчас слышу. Это меня поражает. Объяснить все это сразу себе не могу. По-видимому, правда, что чужая душа -- потемки. Это верно, что Вальц принесла как-то и подарила моей жене на квартире чулки и шоколад ребятишкам. Она объяснила, что у ней, как у артистки,-- она ведь бывшая балерина,-- вся эта роскошь осталась излишнею от прежнего времени, да и, кроме того, кой-кто из ее былых сослуживцев привозил-де ей с фронта гостинцев. По правде сказать, я простодушно в это поверил. Если бы я был в момент дачи этих подарков, я уверен что мы бы их не приняли, но жена, не подумав, взяла их в мое отсутствие, и потом мне было уже неловко их возвращать. Да и жену обижать, по правде сказать, мне не хотелось. По глупости считал все это тогда пустяками. О том, что Вальц взяла с Чоткиных взятку в двадцать фунтов золотом, первый раз слышу. Припоминаю, что она была особенно настойчива с его освобождением, и во мне даже шевельнулось тогда смутное подозренье, но Чоткин сидел совершенно зря, вследствие нашей неразберихи, и должен был давно быть отпущен на свободу, но просидел бы, наверное, еще черт знает сколько из-за халатности уехавшего следователя, если бы не случайно попавшее в руки Вальц его дело.

-- Так что выходит, по-вашему, что Вальц взяла взятку за дело?! -- иронически бросил Шустрый.

-- Оставьте! -- махнул на него Степан.

-- Точно так же никому никогда не давал я никаких распоряжений о выдаче ей какого-то дубликата ордера. Одним словом, всякие подозрения о моей связи с Хеккеем, о моем отношении к этому золоту и вообще о каких-то грязных отношениях с Вальц -- чистейший натасканный вздор. Однажды вечером, правда, пробовала было подсесть она ко мне на диван и заговорила о любви -- мне казалось тогда, что все это было искренним,-- но я тут же вовремя ее смахнул. Если курьерша это подслушала,-- она может все это подтвердить. То же самое вздор и относительно Павлова. Мне он все время казался подозрительным проходимцем. Был разговор об этом и с Кацманом. Решили уволить. Но дела и события как-то захлестнули, и стало просто не до него. Вот и все. Больно, товарищи, было слушать, во что все это обратилось в "объективнейшей" речи товарища Южанина!

Зудин язвительно и брезгливо подернулся.

-- То же самое и относительно оргий,-- продолжал он.-- Какие оргии? Где оргии? Если к нам таскают конфискованные вина, и если они незаметно тают,-- это все скверно и, если хотите, позорно. За всем не углядишь. Но при чем тут басни об оргиях, которые громко вызванивал здесь Южанин. Ведь как-никак, а все же я -- Зудин, а не целовальник! -- еще злее швырнул он в Шустрого.

-- Еще хуже! -- выкрикнул тот, подпрыгивая, точно на иголках.

-- Бросьте! -- махнул на обоих Степан.

-- Но что самое нелепое, так это обвинение меня в злостном проведении провокационного террора,-- кажется именно так определил мое преступленье Южанин. Я расстрелял, как разбойник, сотню невиннейших граждан в отместку за смерть Кацмана?! Все, что хотите, товарищи, но это обвинение я совершенно не в силах осмыслить. Прежде всего, это постановление не мое единоличное, а всей коллегии, на заседании которой были и Фомин и Игнатьев. Правда, я настаивал на расстреле, но разве мне кто-либо тогда серьезно возражал?!

-- Вы всех терроризовали,-- вставил Шустрый.

-- Иль, может быть, позднее раскаяние в содеянном прегрешении, -- язвительно ухмыляется Зудин, -- заставляет теперь кой-кого бить отбой и, умывая руки, валить с больной головы на здоровую?! Что ж, быть может, настанет время, когда сами мы станем судить своих сотоварищей за наиболее энергичное проведение наших лозунгов и

наших директив?! Но я не боюсь ответственности, и если бы еще раз повторилась та же самая обстановка, то я поступил бы точно так же, а не иначе.

-- Конечно, это ерунда! -- мычит Степан и даже истуканом застывший Ткачеев медленно поднимает на Зудина веки.

-- Я убил сотню арестованных,-- отчетливо отбивает слова Зудин, и его голос звонок, как медь,-- и совершенно не считался с их виновностью. Разве вообще виновность существует? Разве буржуй виноват, что он буржуй, а крокодил виноват, что он крокодил?! Разве десятки наших зверских врагов контрреволюционеров -- если им удается честно и глубоко перевернуть свои убеждения динамитом мысли и чувств -- не принимаются нами охотно в наши ряды, как кровные братья по общей борьбе, и разве в то же самое время мы не сажаем за решетку, быть может, очень талантливых молодцов, сделавших в прошлом очень многое для революции и теперь тоже по-своему искренне ей преданных, но по своей глупости, упрямству и классовой подоплеке являющихся на деле нашими злейшими врагами и авангардом капиталистов?! Разве не так?!

-- Вы и себя хотите подвести под эту рубрику?-- расплывается улыбочкой Шустрый.

-- Себя?-- озадачивается Зудин.-- Нет, я говорю о том, что я вправе был расстрелять сотню арестованных, не считая их ни виновными, ни невинными, потому что ни виновности не невинности в вашем, обывательском смысле этого слова для меня не существует,-- вот и все. Но не подумайте также, товарищ Южанин, что я руководствовался чувством мести к этой жалкой своре наших врагов. Отмщение меньше, чем что-либо иное, может меня вдохновить. Пусть этот нелепый предрассудок останется утехой наивных людей, детским наслаждением побить край стола, о который ушибся с разбегу, или выпороть море, потопившее лодку. Мщение -- пустой самообман! И все-таки, если угодно, я расстрелял сознательно арестованных, совершенно невинных людей!

-- Чудовищное рассуждение! -- заерзал на стуле Шустрый.

Даже Ткачеев опять лениво поднял на Зудина оживающий взгляд, а Щеглов, раскрасневшись, увлеченно смотрел ему в рот. Только Степан продолжал благодушно водить карандашом по бумаге.

-- Организация капиталистов убила Кацмана. Это неважно, что некоторые глупые эсэры наивно считают себя врагами капитала. Это неважно. На деле они добросовестно служат передовыми застрельщиками буржуазного лагеря. Их личные убеждения существа дела ничуть не меняют, а ведь мы ведем классовую борьбу в международном масштабе. На удар нужно было ответить контрударом. Они ударили по личности, потому что общественной жизни и законов ее они не понимают. А я взял да и ударил по классу. Я уничтожил первых встречных из их рядов, только первых встречных, ни больше ни меньше, и возвел это в степень неизбежного следствия из их поступка. Не угодно ли еще повторить нападение, милейшие? Не беспокойтесь, больше не повторят: знают, что себе будет стоить дороже!

-- В этом вас не обвиняют,-- обрывает Степан.-- Все это мы знаем: и что такое классовый террор, и когда он бывает неизбежен и необходим. Только, конечно, мы уничтожаем все же наиболее активных и организаторов из враждебного нам класса. Все это так, и покаянные сомненья предоставим болтунам. А вот, может быть, вы лучше ответите нам вот на какие вопросы, я их здесь набросал,-- и он протягивает Зудину листик бумаги.

-- "Почему не было установлено за Вальц наблюдения?"

-- "Какое впечатление от всего этого дела возникнет теперь как у сотрудников чрезвычайки и всех членов партии, так и в широких рабочих кругах, уже широко оповещенных стоустою сплетнею, что Зудин брал взятки через жену?"

-- Да, это моя оплошность, -- говорит Зудин подавленно.-- Какое впечатление?.. Самое скверное! -- еще глуше шепчет он, опустив голову. Вот когда становится ему мучительно-мучительно стыдно: так бы вот и провалился сквозь землю.

-- Есть ли еще у кого-либо вопросы?-- обращается Степан к соседям. Вопросов больше нет. Только Шустрый порывается что-то сказать, но, увидев себя одиноким, сконфуженно прячет глаза, закрывая неловко разинутый рот.

Степан о чем-то шепчется сначала с Ткачеевым, потом со Щегловым, и те кивают ему головой.

-- Распорядитесь, товарищ Шустрый, пока что отправить товарища Зудина туда, где он был.

-- Комиссия вызовет или известит вас о своем решении,-- кивает он Зудину,-- когда таковое состоится,-- и при этом глядит на часы.

Опять какая-то жуткая тяжесть упала на Зудина. Он растерянно ищет на стуле свое пальто, пока не вспоминает, что пришел без него. Сопровождаемый Шустрым, весь покрасневший от пота, как-то неловко выходит он за дверь, измочаленный, обессиленный, с выеденной и надорванной оболочкою сердца. Тот же часовой, уставясь зло ему в спину, проводит его обратно в прежнюю комнату с квадратными нишами черных окон. Зудин ежится.

Где-то далеко-далеко на горизонте вспыхивают в небе отблески орудийных выстрелов. И мрачной чернотой глядится в окна омертвевший город.

VII

Зудин лежит. Что его теперь ожидает? Ах, почем он знает! Его голова совсем отказалась работать. А сердце бьется внутри горячим стыдом: как это Зудин, всегда такой осторожный, всегда такой чуткий, теперь вдруг подвел всех и все: и общее дело мировой революции, и старую партию, и доверие рабочего класса! Неужели все это не сон, а наяву?!

Трясущимися руками он закрывает лицо, и встают перед ним старые, давно передуманные мысли-картины, которые светят теперь вдруг совсем по-иному.

Грязное, клочками ползущее небо. Широкое корявое распаханное поле мокнет под мелким осенним дождем. По глинистой мокрой дороге устало бредет, вихляя ногами, огромный лохматый мужик в рваном зипуне. Лицо его коричнево от загара и морщинистых борозд, как шоколадный лик угодника у владимирских богомазов. Он сутулится, упираясь горбом в рыхлое небо, и кашляет, терпеливо и тупо вглядываясь в нависшую сетку дождя.

"Какой богатырский попутчик! -- грезится Зудину.-- С этим великаном не пропадешь".

-- Почему же так жалок ты, царь земли?

Мужик замедляет свой шаг и, ласково щурясь, вглядывается сверху вниз в Зудина.

-- Голодно, родимый, голодно!

-- У кого же нашлось столько силы, чтобы отобрать хлеб у тебя, честный труженик?

Великан совсем останавливается и опускает глаза в густое тесто размякшей дороги.

-- Никто, милый, не отбирал. Сам, родной мой, отдал своему барину. Исполу мы здеся, исполу, -- и он тяжело вздыхает.

-- Неужели ничего не осталось тебе? Ведь осталось? Что же ты сделал с этим остатком?

-- И-их, родимый, подати замаяли. Апосля надо было купить стан колес да леса и гвоздей малость -- вишь, у меня изба обвалилась; вот и пришлось свезти все остатки в контору, на леватор.

-- Дружище,-- тянется к нему Зудин,-- встрепенись! Эх, как бы нам да вместе садануть бы и по твоему барину и по скупщикам. Давай, перепашем весь мир по-иному, по-нашему. Уж то-то житье нам настанет -- прямо малина: уж хлебушка твой весь останется тебе, почитай до зернышка. Хочешь?! Такое, брат мой, мы с тобой хозяйство заведем, прямо как в сказке: чудный конь-богатырь, весь из меди, а грива из синих огней, сам будет пахать тебе землю без корма и платы! Дай только срок, я тебе все наделаю!

-- Ты чудно говоришь,-- и мужик озирается, а в глазах его хитро крадутся мокрые блестки.-- Барина пощупать, отчего же? Очень можно, ежели только опять же всем миром. Знамо, легче бы стало! Ну, а про огневого коня ты, чай, врешь? Да и куда нам такова? Нам бы, сам знаешь, земляк, лучше б простова кавурку, оно б поспорней!.. Только ты, брат, скажи наперед начистую, хлеб-то у нас, того, так значит уже больше никто и не станет отбирать? -- и он недоверчиво нижет Зудина тонкими иглами серых зрачков.

-- Послушай, дружище, иль ты впрямь думаешь, что орехи сами падают в рот без скорлуп, прямо с неба? Неужели за чудного коня и чтобы спастись от барина, ты не согласишься хоть малость еще поголодать и даже, быть может, последний кусок поделить на весь мир, лишь бы потом жить привольно без бар и купцов?! Ты смекни-ка!

Мужик мнется, сопит и вдруг машет рукой.

-- Эх, брат, ежели это не надолго, куда же денешься?! Заодно уж, видно, пропадать, нам не привыкать стать: ишь, живот подвело. Так и так, брат, видно придется по-твоему, а то все одно подыхать. Только ты... ты-то сам не обманешь?..

-- Экий, брат, ты воробей, что комара испугался! Чай, я сам такой же, как ты, голодный. Сообща будем драться, сообща будем все вместе и делиться. Поделись-ка пока малость хлебцем, да шагай, брат, за мной поживей, не отставая, а то, вишь, ты какой несуразный.

Мужик, понурясь, достает из-за пазухи краюху, ломает пополам, долго смекает, который кусочек поменьше, чтобы отдать его Зудину, но вдруг замечает, косясь, что Зудин следит, и тогда решительно протягивает ему большую половину, а потом неуклюже ковыляет за ним, вихляя коленями и жамкая липкую грязь. Зудин весело машет ногами впереди, твердо впиваяся ими в расползшуюся глину дороги. Мужик-великан еле за ним поспевает. Чуть дышит, часто останавливается и снова силится догнать, утирая ладонью росу пота с лица.

-- Эй, приятель, ты ослобони малость. Нельзя ли полегче? За тобою, и впрямь, не угонишься. Поотощал я без хлеба-то; энтот кусок-то остатний был, что я отдал; хоронил его долго про запас, вот и отощал.

-- Ничего, подтянись, дружище. Надо спешить, иначе не будет нам с тобою удачи, все дороги размоет. Сам я не хуже тебя отощал, ежели хлеба спросил, а вот гляди, как иду. На все сноровка нужна! -- и Зудин запихивает полученный ломоть краюхи в карман, но там что-то мешает, кусок не лезет. Зудин сует в карман руку и достает оттуда...-- что же это такое?-- у него в руке огромный пахучий, размякший от дождя, кусок шоколада. Мужичище вонзился злыми глазами.

-- Што энто? Ты обманул?! хлеб остатний выудил, а у самого канфеты!

-- Товарищ, это случайно...

-- Врррешь!

Дрожь бессильная струится по Зудину. "Не поверит. Все равно не поверит. Я пропал!"

Он бежит и падает в грязь и подымается снова, чтобы снова упасть. Он весь в липкой коричневой массе... глины?.. или шоколада?.. почем он знает. Неужели не убежит туда, за бесконечную сетку осеннего дождя. Ноги все более ослабевают, облепленные толстой кашей землистой замазки. Хриплое дыханье мужика клокочет, все ближе и ближе. Нет, не избежать.

-- Нет, не избежать! -- говорит громко Зудин и открывает глаза.

В комнате по-прежнему тихо и пусто. Электрическая лампочка односветно ярчит. Зудин чувствует легкий озноб.

Как это, в самом деле, все получилось? Зачем он так сделал? В чем его ошибка? И почему те так долго совещаются? И каково-то будет их решение? Неужели они теперь убьют его так безжалостно за бессознательный промах, за детскую оплошность?-- и ему сразу вспоминается Шустрый и его "революционная справедливость".

Он опять ложится на кровать, не раздеваясь, лицом кверху, и снова плотно закрывает глаза обеими руками.

"В самом деле, что это за проклятый шоколад, шоколад, который преследует его так неотступно?! Откуда он взялся?!"

Но в голове его кружится и шумит какой-то баюкающий и в то же время волнующий смутное беспокойство невнятный шум, как шум водопада или шум леса. О, этот с детства знакомый Зудину шум, такой родной, как кандалы у поседевшего каторжника! Зудин его отлично знает, все его тонкости, все его переливы, которые неощутимы для других.

Вот он стоит бледным, чахлым ребенком, как затравленный дикий зверек, с серыми впадинами глазок и вытянув трубочкой губки. А уж этот знакомый шум поет ему в уши свою шелестящую песню: ш-ш-шу-шу-шу, шшш-шу-шу. Но Зудин тихо улыбается. Он уже знает. Он знает, что эту песню поют приводные ремни, шкивы и станки. Они вертятся, грохочут, бегут и жужжат.

Слабенькими ручонками держит он суппорт и зорко следит, как горячая тонкая стружка железа, извиваясь, ползет мимо рук и падает к его босым ногам, их обжигая. Грязный, жалкий, разбитый токарный станок весь трясуном так и ходит от ремня, захлестнутого за вертящийся под потолком шкив на валу. Большое полутемное помещенье подвала затхло, грязно, неуютно и пустынно. Кроме заброшенного дряхлого станка и маленького Зудина, в нем ничего больше нет. Ах, нет же, впрочем, конечно, есть. Это хозяин. Он дремлет вблизи от станка, полупьяный, развалясь на поломанном табурете и вспыхивая время от времени из-под сонных век сторожащим взглядом тюремщика.

-- Работай, лодырь! Работай, стервец, не ленись! а то опять все уши выдеру!

Борода хозяина взлохмачена, как войлок, и спьяна набита всяким сором. Опухшее лицо его жалко. Поверх розовой ситцевой рубахи надет жилет с серебряной "чепоцкой", как любовно называет ее сам хозяин. На босу ногу обуты кожаные опорки. Хозяин слаб, хил и тщедушен, как и его заскорузлый станок. Но стоит лишь Зудину закрыть слипающиеся от усталости глаза, как быстрый, костлявый толчок хозяйского кулака под затылок мигом выводит его из сладкой дремы, навеваемой пеньем ремней. И снова бесконечно ползет и вьется горячая стружка, падая и обжигая босые ноги.

-- Работай, чертова кукла! Я засну тебе, сучий сын! Вот только не сделай мне за день тридцати втулок, я тебе всю шкуру спущу!

Большая стена оконной решетчатой рамы отделяет затхлую мастерскую паутиной мелких пыльных стекол от остального мира, развернувшегося где-то там, за станком. Однажды, когда хозяин крепче задремал с похмелья, Зудин, передернув отводку на холостой ход, подсмотрел, что делалось рядом. Там стояло много новеньких, чистеньких, блестящих не станков, а нарядных машин, и все они пели тоненькими голосами, и ходил возле них аккуратно и чисто одетый, в крахмальном воротничке с сизым галстуком, в жилетке, брюках и в красивых ботинках какой-то разглаженный барин в кепке и с сигарой в зубах. Он поворачивал рычаги то одной то другой машины, следя, как они сами выбрасывали из своих животов груды различных товаров, сами же запаковывали их в одинаковые гладенькие ящики и сами тащили их лентой на выход, за дверь.

"Ишь ты, -- подумал Зудин, -- сам хозяин работает, и как ловко!"

Но это не был хозяин, потому что приходил, словно вкатываясь, кто-то толстенький, кругленький, пухлый, гладко выбритый, сверкающий стеклышками пенснэ и радугами перстней на коротких напухнувших пальцах. Перед ним барин в жилетке и кепке сгибался в крючок и о чем-то подобострастно докладывал. Если пухленький человечек оставался доволен, он весело кивал, как Ванька-встанька, круглой головкой без шеи и, поблескивая пенснэ, указывал на какие-то ящики в углу. И тогда барин в кепке громко кого-то звал и на зов из-под поющих, как прижатые осы, станков вылезал большущий, весь измазанный копотью масла какой-то усастый детина в длинной широкой синеющей блузе. Он открывал гвоздодером указанный ящик, срывая с него нежно-желтую крышку, после чего пухлый барин в перстнях и пенснэ доставал оттуда кучу пачек, красиво уложенных, плотных, блестящих, и передавал их барину в кепке. Тот изгибался учтиво, пихая их торопливо к себе в карманы замасленных брюк. Пухленький барин с недовольной гримасой брал из ящика снова штук с пяток, и неохотно протягивал их синей блузе и тотчас же, торопливо напыжась, закрывал крышкой ящик и тащил его за дверь к себе. Барин в кепке и синий детина развертывали по одной из даденых пачек и ломко кусали.

"Что это они едят? -- думал Зудин и однажды как-то спросил синеблузого, когда тот подошел зачем-то и стал спиною вплотную к раскрытой форточке у его запыленной стеклянной стены:

-- Как зовут тебя, приятель?

-- Меня-то?.. Ганс!

-- Что это давеча ты ел такое гладкое в блестящей бумажке?

-- А-а-а!.. Шоколад!

-- Вон оно что! Что ж, это вкусно?

-- А разве твой хозяин его не дает?

-- Нет, мой хозяин, как видно, сам не знает еще, что такое твой шоколад. А у тебя разве двое хозяев?

-- Да как тебе сказать? Тот, что дал шоколад, тот хозяин, а этот вон, в кепке, это мастер. Но, по правде говоря, мой милый, это для нас один черт!

-- А все же, видать, что хорошо ты живешь. Смотри, как чисто одет, в башмаках, и шоколадом тебя кормят и не бьют.

-- Не бьют? Это как сказать: иной раз тоже бывает. Ну, а насчет шоколаду, то что ж тут особенного? Он очень сытен, дает много силы, а главное -- дешев. Хозяин экономит хлеб. Хлеб очень дорог. А шоколад он за бесценок привозит от негров, меняя на медных божков и стеклянные бусы, а то, знаешь, и прямо так, даром берет. Вот и кормит. Но ведь ты же сам видел, как он его мало дает. Каналья боится, как бы я не сделался очень силен, а потом ты не знаешь, насколько этот жирный пузырь жаден. При моей работе разве будешь сыт его пачкой: еле ноги волочишь. А вот к себе он утаскивает полнехонький ящик и жрет до отвала, запивая шампанским! -- и Ганс тревожно оглянулся. -- Знаешь, парень, я частенько подумываю, не сговориться ли нам сообща и не придушить ли всех наших хозяев?!

-- Что ты? что ты? -- испуганно отпрыгивает Зудин от форточки.

-- Ганс! -- кричит мастер в кепке, и Ганс торопливо отходит.

-- Вишь, чертенок, опять, видно, дрых! -- ворчит хозяин с табурета, продирая глаза. -- Станок опять мотался вхолостую?! Ии-их, стерва! -- и новый пинок кулака отрезвляюще встряхивает мозги Зудину.

Снова тянется едкая стружка, вцеловывая ожоги в его позеленевшие ноги. Трясется разбитый станок, пахнет затхлою плесенью, и ворчит, как замирающий гром, раздраженный хозяин. Только там, за стеклянной стеной, поют, точно пчелы, станки и машины, мигая тенями летящих ремней на другой стеклянной стене, за которой гудит, словно улей, рой опять таких же машин, и так дальше и дальше, без конца.

"Большая, знать, фабрика! -- думает Зудин.-- Кто же будет ейный хозяин?!"

Но главного хозяина Зудин так и не видел. Зато он увидел картину, которая пронизала все его существо и скрутила всю его жизнь, словно смерч.

Гудел привод. Дрожал станок. Шуршала ползущая стружка, слипались устало глаза, как вдруг наверху, на дворе отчетливо громко что-то надтреснуло;

-- Бац!!!

Дремавший на табурете хозяин чуть не свалился от неожиданности и стремглав бросился вверх, стуча опорками по каменным ступенькам. Зудин, бросив станок, потянулся за ним.

На просторном вымощенном камнем фабричном дворе, заставленном грудами- разных ящиков, стоял, подбоченясь, седой сухощавый лощеный мужчина, гладко выбритый и бледный. Перед ним барахтался на земле сбитый с ног толстенький пухленький соседский хозяин, и на щеке его багровел след от удара ладонью.

-- Не суйся, любезный! Не трогай чужой шоколад! -- цедил через зубы надменно стоящий.

Но глаза толстяка налились уже кровью, и на жирных губах забелелася пена.

Чужой?! Ах, бандит! Я ведь знаю, какой он чужой? Ганс, на помощь! -- и толстяк, подпрыгнув, словно мяч, уж словил и тащил за шиворот вылезшего на шум Ганса, подтолкнутого сзади мастером в кепке.

-- Ганс, дай ему в лошадиные зубы! Эта сволочь стащила сейчас весь твой последний шоколад. Помоги же отнять!

Ганс растерянно покраснел, развернулся и ударил -- да так, что высокий качнулся и еле-еле устоял на ногах, а потом сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Между тем, изо всех углов к месту драки уже неслись, очертя голову и сопя, как кузнечные мехи, по-видимому, все обитатели этого странного места.

-- Что же ты делаешь, Ганс?! -- пугливо и робко потянул его Зудин за блузу.-- Вспомни, ты сам что говорил так недавно!.. А теперь из-за этого шоколада?!

Но Зудин не успел договорить. Его хозяин с всклокоченной бородой уже визжал и дрыгал ногами, уцепившись зубами в лопатку пыхтящего толстяка, который в свалке шарил по мостовой свое разбитое пенснэ. Но кто-то из кучи стремглав наскочивших мигом дал хозяину сапогом пинка в зад, отчего тот ляскнул зубами и, как тюфяк, шлепнулся наземь.

-- Лодырь, стервец! Чего же ты стоишь, как баран, когда твоего хозяина бьют? Карр-р-раул! -- крикнул он и, согнувшись от боли, ткнул Зудина обоими кулаками прямо в шею. Тот споткнулся и полетел головою вперед в самую гущу общей свалки. Дальше Зудин не помнит ничего, кроме ударов, самых неожиданных, мучительных и хряпких, облепивших его со всех сторон в этом хаосе лязга зубов, рычанья и хрипа. Били друг друга все и кто чем попало. Стараясь как-нибудь выбраться из кровавой каши. Зудин спружинил все свои мальчишеские силы и стал отбиваться, грызясь и вонзясь ногтями, которые сдирались от ударов. Кто-то треснул Зудину в бок тою втулкой, что обычно он точил на станке, другой саданул его острым стальным резцом прямо в ногу, а третий колотил его, что было силы, по уху каким-то обломком с гвоздями, должно быть, с деревяного ящика из-под шоколада. Наконец, Зудин совсем обессилел, свалился кому-то под ноги, инстинктивно подтянулся на руках в дрожи конвульсий и... неожиданно выполз.

Несколько зубов были выбиты и держались на пленочках десен. Волосы мягко слиплись в теплой крови, сочившейся на уши и щеки. Все тело и кости мучительно саднило, а босая нога зверски ныла, раздавленная чьим-то чугунным сапогом.

"Неужели я жив? И все это не сон?-- протянулось в мозгу, пока он, стеная, не дополз до каменной лесенки в свой подвал. А посредине двора по-прежнему в бешеном вое катался, вращая глазами, сторукий, стоногий клубок дерущихся тел.

Между тем, толстый хозяйчик-сосед уже стоял, отдуваясь, возле притолоки своей двери и, брызжа слюной от волненья, забинтовывал руку. Его противник, высокий, с кобыльим оскалом пожелтевших зубов, поодаль мирно подвязывал возле своей двери оборвавшийся шнур от ботинки. Кругом валялись неизвестно кем и откуда

накиданные обломки станков, части машин, сломанные инструменты, и ярко горели подожженные ящики, в которых шипел шоколад, и жаркое пламя мигало своим отсветом на фигурах хозяев.

"Кто же, в таком случае, дерется?-- удивился Зудин в то время, как его хозяин, ковыляя, опять вылезал из своего подвала наверх, подымая с собой и швыряя на двор в дерущихся все планшайбы, патроны, нутромеры, резцы,-- все, что так бережливо хранил в своем шкапчике Зудин. Жилетка хозяина была чем-то острым распорота, глаз подбит синячищем, опорки одной уже не было, а оборванная серебряная "чепоцка" жалко болталась из пуговичной петли.

-- Ты куда ж это, сволочь паршивая, предатель, иуда! -- захрипел он на Зудина.-- Воротись, или враз удушу! -- и он швырнул в него сверлом.-- Будешь слушаться?!

Зудин молчал. Он ничего не соображал. -- "Кто же дерется?!"

-- Полезай, щенок, захвати молоток и тотчас марш обратно или сейчас же сам убью ирода! -- тряся хозяин от бешеной злобы, роняя из-под локтей вытащенные вещи.

-- Так его, так! -- процедил через зубы высокий.

-- Будет такать! -- прошипел хозяин-сосед, толстячок.

И от нового тумака Зудин скатился по остриям камней в свой подвал, где на слизком полу нащупал впотьмах под рукой молоток. Он торопливо схватил его и прижал меж ногами.

"Неужели навеки погибнуть? Неужели нет больше спасенья?"-- думал он, стараясь лежать, не шевелясь. Но чья-то сильная и длинная жилистая рука нащупала крючьями пальцев его расшибленное плечо, схватила его и потащила на двор, как капусту из супа.

-- Вот он, ваш обормот! Полюбуйтесь! -- выпустил его из когтей влоск бритый высокий хозяин, уже подвязавший ботинку. Ткнул его носом в опорку хозяина и повернул к себе.

-- Ах, так ты так-то, убежал? Значит ты за него?! -- кивая на толстяка, хрипел безголосый хозяин, и его бороденка, выдерганная клочьями в драке, тряслася от пенистой злобы над хилой измызганной шеей.-- Значит ты так?! -- и он замахнулся на Зудина шкворнем.

Зудин пригнулся, сожмурился, цепко схватил молоток, взметнул и ударил. Что-то жалобно взвизгнуло, как собака, ухнуло, рухнуло, резнуло зубами по голым ногам и, обвившись вкруг них, словно спрут, вместе с ним покатилося вниз подвала по камням ступеней. Знать, хозяин оказался тщедушным. Молоток Зудина пробил ему висок возле левого глаза, и тяжелая бурая сукровица неприятно залила ему все лицо.

-- Выпусти! -- закричал ему Зудин.

-- Нет, не выпущу. Сам подохну, но и тебя удушу, окаянный! -- хрипел тот еле слышно, навалясь, как болванка свинца, и придавив ему ноги. Зудин дико рванулся. Хозяин дернулся, конвульсивно вскинулся и, раскидавши ногами остатки совсем разломанного станка, беспомощно засипел, обмяк головою и распластался, как тюря.

Зудин, пошатываясь, медленно приподнялся. Все тело его резко ныло от ссадин, вывихов, ран и кровоподтеков. Выбитые зубы тряслися во рту на порванных пленках побледневших десен. Глаза заволакивало туманом мучительной боли, но, цепляясь трясущимися пальцами за выступы раскиданных обломков, он начал медленно вылезать кверху на воздух. Что-то оборвалось и покатилось под ногой вниз на хозяина. Он обернулся. Остатки разломанного станка чернели внизу, как чей-то обглоданный скелет, возле которого в грязи и крови лежал, широко раскинувши ноги, труп хозяина. Лишь под потолком торчал онемевший и пустой от соскочившего ремня шкив трансмиссии.

"Все пропало! -- думалось Зудину.-- Пожалуй, самому всего не починить,--прикидывал он.-- Куда денусь? Чем буду кормиться? Не идти же к соседу?"

Машинально он подобрал раздавленную кем-то плитку шоколада, неизвестно откуда здесь очутившуюся, и, не думая, сунул ее в карман. Плиточку шоколаду.

Как лиловая острая молния, яркая мысль о Гансе пронзила его мозг.

Неужели он еще продолжает там драться, как болван, на забаву своих подлых хозяев?! Неужели все они, синеблузые, голодные идиоты, сбившиеся в хриплую кучу, еще сверлят долотами друг другу закопченные скулы и вырывают щипцами глаза ради этого вот проклятого шоколада, которого они почти не видали, жалкие обломки которого им, как кости собакам, швыряли их господа?! Почему бы им всем сейчас вот вместе и сразу не воспользоваться дракой, не кинуться на своих хозяев с тяжелыми кувалдами, сверлами и гвоздодерами, чтобы раскроить плоские черепа этих животных, загонявших их под станки и под брюхо машин пинками лакированных модных штиблет? Разве тогда этот самый шоколад не достанется всем им по праву? Ешь -- не хочу, вволю!

Зудину сделалось сладко во рту от одной только мысли. И когда он поднялся в дверях, выходящих на двор, то увидел, как по-прежнему черный урчащий комок залившихся грязью и кровью, испачканных мускулистых тел возился, визжа и стеная от боли, переплетаяся, как куча раков, сваленных в узкой корзине.

-- Ганс! -- крикнул он, что было силы, и сам удивился звонкости своего мальчишеского голоска.

Пухлый хозяйчик-сосед, выкатив от ужаса из орбит оловянные голыши своих глаз, пятился спиной к косяку, растопыривши пальцы тычками против Зудина, как будто защищаясь от страшного призрака.

-- Убийца, убийца,-- шептал он,-- чур меня, чур меня! Вяжите его, не слушайте его, это убийца! Это сумасшедший!

Другой из хозяев, долговязый и бритый, подвязавший ботинку, презрительно сплюнул сквозь зубы.

-- Да, жалкий каналья, презренный щенок, ты устроил прескверную штучку, потому что набитый дурак. Твой хозяин был совсем недурным джентльменом и поставлял мне невредные втулки.

Он на минуту задумался.

-- Очень невредные втулки поразительно дешево. Словом, он был превосходным хозяином. И всю свою жизнь он заботился лишь о тебе. Он частенько клянчил у меня шоколаду, но бедняку перепадало, по правде сказать, не ахти как много; уж очень дешево, изумительно дешево стоил его заскорузлый товар! Кроме того, его большая часть шла мне даром в уплату за энергию. Или ты, безмозглая лягушка, думаешь, что трансмиссии вертит какой-нибудь добрый черт для вас, олухов, бесплатно?! Он был очень хорошим и богобоязненным хозяином. Он мог, пожалуй, и даже очень скоро выйти, наконец, в настоящие люди,-- продолжал долговязый, как бы размышляя вслух и покачивая в такт головой, -- если б вот этот безмозглый ублюдок не проковырял ему голову своим дурацким молотком. Ведь я обещал твоему хозяину целых два ящика шоколаду и открывал ему калиточку для получения его и впредь, с моего каждый раз разрешенья, конечно. Вот подумай, осел, как ты расстроил свою же собственную выгоду. Впрочем, я не злопамятен. Мы можем остаться друзьями и я велю сейчас же включить твою трансмиссию, если ты перестанешь скандалить и... я, знаешь, дам тебе даже целый ящик шоколаду, если ты будешь слушаться только меня и починишь ножиком брюхо вот этому борову,-- и он кивнул на толстяка.

-- Что говорит эта старая лошадь?! Нет, вы послушайте только, что может брехать этот выживший из ума жираф?! Послушай, негодяй,-- кричал другой, протягивая к Зудину свою забинтованную руку,-- не верь этому жулику! Я дам тебе целых пять ящиков, только после драки, если ты вычистишь зубы молотком этой обалделой кобыле.

Но Зудин не слушал. Стиснув зубы от боли и медленно волоча распухшую ногу, он приближался настойчиво к куче рабочих, блестя воспаленностью глаз.

-- Братцы, что же вы делаете? Опомнитесь! Ганс и все вы, несчастные, взгляните сюда! Бейте тех, кто втравил нас в драку! В морду хозяев! Тогда у нас будет сколько хотим и шоколада и хлеба, а уж скулы наверняка будут целы! Не зевайте! Ловите минуту, пока в ваших руках железные клинья! Смотрите, завтра будет уже поздно, и хозяева снова впрягут вас всех порознь в хомуты у станков! Ганс, Ганс, откликнись! Ведь ты же меня знаешь?! Припомни, ты сам так недавно учил меня мести хозяевам! Посмотри, вот теперь я свободен! Я послушал тебя и убил своего погонщика!

Визгливый, истошный крик Зудина сверлил уши дерущихся, как гудок, но, подобно гудку, так им всем надоевшему и скучно-знакомому по заводу, он не тронул из них никого своею затертой шаблонностью слов. Только конечный измученный выкрик: "я убил своего погонщика!"-- впился в кучу, как брошенный камень в кисель, и всколебнул замешательство. Точно кто-то невидимый захватал сразу всех дерущихся за локти. Ганс, пыхтя, как котел, выперся из общей кучи задом и первый обернулся на зов мальчугана. Одна из его штанин была вырвана в драке, и голая волосатая нога, покрытая багрово-желтыми синяками и бегущими лентами крови, тряслася от боли и изнеможенья.

-- Что ты задумал, пострел?! -- смотрел он на Зудина растерянно, торопясь отдышаться и вытирая ладонями сопли и пот.

-- Не слушай его, Ганс! Не слушай! -- истерично скулил его хозяин-толстяк, ползая на карачках.-- Ведь это ж сумасшедший, ведь это ж дурак, полный набитый дурак! Он убил своего доброго хозяина и разбил всю мастерскую! Ганс, да ведь это же сумасшедший варвар! Это дикарь! Боже мой, что мне делать?! -- ревел он, метаясь с отчаянья, что Ганс плохо его слушает.

-- Хозяин говорит сущую правду, милый Ганс! -- начал вдруг резко и громко неожиданно вылезший из мастерской мастер в кепке, облизывая свои пальцы.-- Эта гнилая доска ни черта не понимает в социализме. Социализм, коммунизм и экспроприация наших заботливых хозяев, милый Ганс, возможны только тогда, когда наши машины целиком вытеснят труд человека,-- это раз, и когда наши хозяева совсем перестанут давать шоколаду,-- это два. Тогда рабочий возьмет и шоколад и машины. Это сказал, Ганс, наш великий учитель Маркс в третьем томе! -- и, обтерев мокрые от слюней пальцы о брюки, мастер полез в свой карман, чтобы вытащить оттуда толстенькую красненькую книжку.

-- Он врет, Ганс! Он врет! -- сверлил звонко Зудин.-- Этого не может быть, ведь ты сам должен чувствовать?! Разве ты ясно не видишь, что эту крепкую цепь мохнатых пауков надо бить поскорей, пока в ней еще есть слабые звенья, или... или... мы все задохнемся в их паутине и перебьем вдобавок друг друга!

-- Где это сказано? Покажи! -- наступал Ганс на мастера.

-- Погоди, дай вынуть. Видишь, застряла. Не карман же теперь разрезать ради твоей спешки? А своим умом разве не видишь? Ну, что ж, бери тогда пример с этого желторотого идиота! Лучше спроси-ка ты его, где станок?! Как он будет работать теперь с разломанным станком?! Брось, Ганс, и не будь дураком. Смотри, нашему хозяину уже перебили руку. Из-за чего? Он хотел заработать лишний ящик шоколаду, чтобы поделиться с тобой! Или скажешь, ты не получал?! Ну, тогда ломай мастерскую и иди в кабалу вон к той лошадиной морде!

Ганс молча медлил в тяжелой нерешительности, дико обводя выпученными бельмами глаз всех говоривших. А между тем драка расстроилась. Все старались прислушаться к спору. Удары падали медленнее и реже, и только пара мелких забияк, урча, крепко держалась зубами за чьи-то ляжки. Мастер совсем незаметно подтянулся к Гансу и сразу же кончил проповедь на полслове, быстрым и ловким движеньем толкнув его к хозяину-толстячку. Тот, обхватив плотно Ганса по рукам, юркнул вместе с ним в мастерскую. Туда ж, вслед за ним, полетел, кувыркнувшись, и мастер, подброшенный сильным пинком бритого хозяина-верзилы. Двор пустел. Все хозяева, быстро вцепившись каждый в своего рабочего и отбирая у них инструменты, торопливо их загоняли толчками и руганью каждого в свои мастерские.

"Сорвалось! -- втянув в себя воздух, подумал испуганно Зудин, когда все опустело и он остался один.-- Околпачили всех!.. А дома -- разбитый станок и убитый хозяин. В чем же моя ошибка? Где это я промахнулся?! --

думает он, пристально впиваясь глазами в незримую точку.-- На чем я споткнулся?!"

-- Знаю!.. Знаю!.. Знаю!..-- гикнул он звонко и радостно, словно выстрелил в небо.-- Я все теперь знаю! Это... шоколад!.. Шоколад!.. Шоколад!..-- и, забыв свою боль, он размашисто дернулся и побежал, что есть силы, вперед ковыляя и подскакивая отдавленной ногою, как подраненный заяц.

Поскорее б, поскорее б, поскорее б туда, вперед, навстречу огромному безучастному желтому солнцу. Он теперь отберет у хитрых погонщиков их сладкую приманку. Он оставит их без шоколада. Он, Зудин, все теперь знает. Его больше никто не обманет!

За длинным, высоким, тягучим забором были слышны чьи-то голоса, непонятно гортанные, словно несколько человек полоскали горло. Зудин увидел ворота с какою-то вывеской и вошел. На всем протяжении, которое смог охватить его глаз, он увидел бесконечные ряды плоских, открытых, широких, деревянных ящиков, на первый взгляд напоминающих парники, в которых валялись какие-то буроватые комья. Возле ящиков сидело на корточках множество перекидывающихся отрывочными гортанными звуками совершенно оголенных людей с крупными телами, черными и поблескивающими, словно покрытыми жирной ваксой. Только белки их глаз, как голубиные яйца, и, точно точенные из кости слоновой, кастеты зубов -- казались искусственными и ярко игрушечными в мягких оправах коричневых век и барбарисово-красных опухнувших губ. Здесь были мужчины и женщины, старики и старухи, сухопарые, с седыми волосьями, и малые дети, которые перебегали, как тараканы, раскачивая на худых и тоненьких ножках отвислые животики, напоминающие издали груши. Все эти люди ворочали палками бурые комья, оказавшиеся поближе толстыми, как огурцы, стручками, в то время как другая такая же партия-смена, вооруженная маленькими кривыми ножами на длинных палках, приносила эти стручья в круглых плетеных корзинах на головах откуда-то из ближайшей чахнущей рощицы.

Солнце пекло соленым зноем, пот сочился по черным плечам и затылкам. Но все работники еще круче сгибали упругие спины и еще быстрее мелькали локтями, как только их оголенные белки глаз ловили в подлобьи очертанья проезжающего мимо статного белокурого бестии с розовой замшею щек и с глазами веселыми и упрямо-жестокими, как поседевшее море далекого севера. Под седлом его играла рыжая лошадка. Широкая белая шляпа клала опаловую тень на лицо. Тонкого белоснежного батиста сорочка была засучена на розовых ямках мускулистых локтей. В кармане коричневых кожаных брюк топорщился горбатый кольт, высовывая свою рукоятку; а в руке у красавца колебался изящненький тоненький хлыст, надушенный оппопонаксом, и хлыст этот изредка делал веселые воздушные петли и вцеловывался стальным узеньким кончиком в черную тушу задремавшего негра:

-- Чмок!

-- О, нет, масса, господин мой! Твой раб работает усердно на радость тебе. Не бей и помилуй меня, господин мой, во царствии твоем!

Но масса, улыбаясь энергичным и смелым лицом, словно солнце, плыл дальше -- даже не слушая, даже не глядя. Тогда распростершийся раб робко вскидывал раскаленные угли зрачков ему вслед, стискивал клещи своих крепких зубов и глухо рычал. Со страхом и тайной надеждой все остальные кидались глазами в его искромечущий жест, но тотчас же тухли, как пена, упавшая с гребня зеленой волны.

-- Брату больно?-- спросил его нежно присевший на корточки Зудин.-- Брат устал?

Но негр, ощетинясь недоверчивым страхом, молчал.

-- Брат напрасно боится. Я не масса, хотя и такой же, как и он, бледнолицый. Я смертельный враг масса. Я убью его, и ты будешь свободен. Мы забросим в ручей его кольт и изорвем его хлыст. Ты больше не будешь таскать и ворочать эти проклятые стручья. Ты ведь знаешь, что из этих бобов, жирных от твоего пота и горьких от слез твоих, эти канальи делают себе на забаву пресладкие вещи, которые зовут шоколадом.

Негр доверчиво кивнул, но сейчас же тоскливо скривился и спросил:

-- Кто же будет тогда давать нам эти чудные вещи? -- И он восхищенно подбросил ожерелье из толстых глиняных бус, покрытых голубою глазурью, висевшее на его черной потной груди.

Зудин горько усмехнулся:

-- Мы сделаем тебе много лучше и больше. Только скажи, разве ты не хочешь быть свободным? А если хочешь, давай уговорись с остальными собратьями, условься о священном знаке, по которому все мы сразу же кинемся вместе, как звери, на этого сероглазого бестию с кольтом. И тогда я достану тебе много-много голубых, лиловых и синих бус, таких, какие ты любишь, а у тебя не возьму ничего. Я не ем твоего шоколада! -- и Зудин ожесточенно замотал головой.

Негр радостно вскрикнул и подпрыгнул, как зайчонок, испустив веселый гортанный щелчок, который, как ток, пробежал по черным шеренгам, уставив тысячи глаз, сверкающих, точно жуки, на него, на избитого, хилого мальчика Зудина.

"Как это быстро! Как это сразу легко удалось!"-- радостно подумалось ему, и он уже видел, как вот сейчас, здесь вот что-то случится страшно важное, еще никогда не бывавшее в мире, и пускай после этого бьются о стенки засохших конторок жадные погонщики севера. Шоколада больше не будет. Шоколада, именно самого важного, что им надо, чем они держатся, -- шоколада больше не будет.

-- Значит ты не масса? -- с изумленною радостью повторял, щелкая языком, негр.--Ты не ешь шоколада?! -- Ты наш брат?! И мы будем вместе с тобой лазить по нашим деревьям, срывая орехи, хохоча по утрам в шаловливой щекотке. Будем спать у ручья на шелковистых стеблях длинных трав под ожогами красного солнца. А вечерами, под сизую пряную дымку тумана с болот, будем вместе так жутко молиться, томясь, вот этим прекрасным таинственным бусам. Ведь ты их нам дашь? Ты их дашь? Ты обещал ведь?! -- и тысячи хрустальных доверчивых

глаз нежно протягиваются к нему с детскою просьбой. Сотни ласковых рук бережно гладят его, любовно ощупывают, лезут в карманы. Вдруг резкий пронзительный крик:

-- Это масса! Он обманул!.. Шоколад!

Зудин ничего не понимает, почему все стрельнули в него пиками пальцев и сейчас же все насугорбились еще ниже и покорнее, заработав, как мыши, перед проезжающим статным красавцем с опаловой тенью на рыжем коне.

-- Что случилось? -- и он видит, как негр растерянно вертит пальцами вынутый просто случайно из кармана его шоколад.

"Ах, вот ведь что!" -- быстрится мысль Зудина искрометным мгновеньем. Но дальше он уже ни о чем не успевает подумать. Его череп раскалывается от звонкого удара, как орех, а размякшее тело переломанными костями, прорвавшими мясо и кожу, засовывается под низкий неструганный ящик с горьким запахом вялых стручков.

VIII

Разве это шипит кислота? Нет, это едкая желчь тревоги жжет сердце Василия Щеглова и свербит в нем, как сверло. Милое уплывшее детство сверкает ему издалека осколками склянок веселой помойки. Милое детство трепыхает ему в глаза теплым зеленым листком сочной пахучей бузины. Мельтешат под нею заскорузлые детские ноги у разбросанного кона желтых пузатеньких бабок. Насупилась большеглазая юная мордочка загорелого Алешки. А Васино сердце колко бьется, как одинокий семишник в болтающемся кармане продранных штанишек. Железная плитка тяжела и угласта и плохо ухватывается в напружившуюся ладошку. "Эх, кабы гладенький лизун! Неужто опять промахнусь? Неужели опять проиграемся влоск -- подчистую?" Но тычет Васю в бок Алешкина ручонка и игриво подмигивает Алешкин шепоток:

-- Держи-к, Вась... лизун!.. На... выручайся...

И пускай теперь не Шустрый, а целые полчища Шустрых шевелят своими длинными пальцами, как пауки по углам,-- он, Вася, Алешку не выдаст. Качается перед ним далекая юность, бузина и помойка, и крепнет стальным лизуном Васино сердце.

Торопливо, тенорковой прохладой, спросил о чем-то Степан, и прищурясь, молча целится через карандаш на электрическую лампочку. Быстро и неверно Вася пружинит тогда одну за другою все нужные мысли, словно кот, подбирающий задние лапки для прыжка на застывшую в ужасе мышь.

Вдруг совсем неожиданно брякает Шустрый:-- Мне разрешите...

-- Эх, да уж хватит?-- заливается Вася горячим румянцем,-- хватит с тебя: насобачился вволю. Что ж, иль не знаю я Зудина? Да я знаю Алешку, товарищи, с самого детства. И то есть такой он чистый наш парень во всех отраслях, одним словом...

-- Значит я клеветал?! -- подымается Шустрый.

-- По порядку! -- хмурит Степан.-- Дадим Шустрому еще пять минут, но только по существу... А ведете ли вы протокол? -- вдруг кивает он на разинутый рот секретаря.

Секретарь торопливо трет о штаны вспотевшие руки, и перо его вновь лебезит и тоскливо шипит по равнодушной бумаге. А Шустрый, топорщась, как воробей, верещит: о ячейке, на которой Алексей не бывал... о заводе, забытом токарем Зудиным... о том, как в рабочих кварталах сейчас не спокойно... "Ишь, куда гнет, язва",-- корежится Василий.

-- Постойте-к!..

-- Не перебивай! -- обрывает Степан. И ободренный Шустрый роняет улыбку победы в портфель, копошась в нем с такой напускною заботой, с какой только фельдшер в деревне после вскрытия трупа, когда доктор уже моет руки,-- этот фельдшер старательно роется в брюхе, перекладывая там потроха. И думает фельдшер: "...Порядок, порядок! Нельзя же вдруг сердце -- и класть под кишку",

Так же и Шустрого ничто не собьет. Он распутает все извороты, все заячьи петли коварного Зудина. Он, Шустрый, гордится и знает, каким он доверьем овеян. Он знает, как много врагов у рабочих, которые рады пролезть даже в партию, и там, словно клещ, впившися в свой партбилет, служить жестким желобом, по которому прет и поганит движенье всякая мразь и всякая муть... Но Шустрый -- расчистит.

-- "Товарищ"?! "Партиец"?! -- звенит он насмешечкой,-- а ежемесячных взносов полгода не делал!.. Отсюда-то все и пошло: и Павлов, и Вальц... и эсэры в Осенникове... и все-то совсем не случайно. И совсем не случайно, что наш предчека всю чеку у себя превратил в помойную яму! --

И Шустрый брезгливо подернул подстриженный седенький ус.

"Помойную яму"?-- слушает Вася Щеглов, и ласковый блеск веселых огней от играющих с солнышком битых стекляшек вновь манит его и мягчит его сердце улыбкой бузинного детства.

И бесится Шустрый, тайком наблюдая, как этот Щеглов мечтает слюняво разинутым ртом совсем не о том, что легло вот сейчас такой плотной, железной стеною на пути пред задачами партии. И Шустрый сверлит, пробивает и колет мягкотелую глыбу сочувствий стальными резцами отточенных слов.

-- ...Что ж, белогвардейцы совсем идиоты, что остались довольны винцом и конфетками, а не узнали через того же Хеккея, которого Вальц укрывала, а Зудин воронил,-- не узнали на ять все деловые секреты чеки?! Ведь Зудин доверил все Вальц! Зудин доверил секреты врагам! Да ведь за одно только это мало его расстрелять!.. А ведь посмотришь, туда же!..-- и черные шарики Шустрого язвительно щиплют Щеглова,--..."чистый парень"... "во всех отраслях"!.. Нет уж, если мы вверили ему наш ответственный меч, а он загрязнил его взяткой и преступным

доверьем -- во всем он теперь виноват! Этот Зудин. Во всем виноват!.. Да, и в тех исковерканных трупах,-- и Шустрый, таращась бровями, тычет туда, в запотевшие черные окна.--...Да, и в тех раскровяненных трупах героев-борцов и стойких товарищей наших, которые самоотверженно гибнут сейчас из-за Зудина, гибнут огромными грудами сейчас вот, вот в эту минуту, у ворот города... всего в двадцати пяти верстах!.. Да, и в этом виноват только Зудин! Он прозевал все восстание!.. Я не уверен даже...-- и Шустрый ловким броском перекинул портфель,--...я не уверен даже, что мы усидим здесь до утра. Подкрепленья ничтожны!.. И сдать этот город?! -- он выбросил вверх комки кулаков, показав волосатые тощие руки.-- Зудин должен быть... немедленно... и беспощадно... расстрелян!!!

Красная суконная скатерть мягко всасывает даже самые острые слова, и потому все молчат и глядят на нее, как будто сговорившись.

-- Слово тебе, Щеглов.

-- Я скаж-жу...-- голосок дребезжит. Нервно встает. Рука дрожит по хохолочку волос, а другая беспомощными рывками мнет и теребит черный шнур пояска. -- Я скаж-жу. Да, я скажу, что гнуснее вот всей этой сплетни!..-- но под широким, как нож, взглядом Степана тухнет у Васи его резкий выкрик.--...Этакого, подобного отношения к старым нашим товарищам я в жизнь не видал. Зудин взяточник? Чем это доказано? А я головой вам своей отвечаю, что -- нет! Алешку знаю я сызмала, и таким же он парнем остался, как и был!.. А потом: "не бывал, вишь, в ячейке, в Совете"!.. Эка, подумаешь, невидаль!.. Да разве дело чеки не важнее?! А затем как предгубчека он кажный раз бывал на губкоме. Почему вот об этом товарищ Шустрый, "беспристрастный" докладчик,-- ни слова? И с каких это пор работа в чеке перестала быть партработой и вдобавок самой ответственной?! Подумаешь теперь: "ячейки"! Что ж он в бабки играл там, в чеке, что ли?

-- С бабами возился,-- тихо, но внятно вбивает Ткачеев,

-- ...С бабами?.. с бабами... Ах, товарищи, темное дело эти бабы... гиблое дело. И черт его дернул пожалеть эту сучку! Ну, чем она его разжалобила,-- просто в толк не возьму. Если по нашему брату судить: никуда нам такие барыньки! Так, кружевная слюня какая-то, а не человек. И черт их там теперь разберет: сошелся он с ней или так обошлось. И ни к чему, я так думаю, нам этого дела касаться. Их это дело. Сука, известно, останется сукой. Зря он, конечно, ее пожалел. Подвела парня баба. Но ни в чем не виноват перед нами Алешка. Ну, маленько ошибся, это правда, промахнулся. С кем греха не бывает? Но остался он до конца нашим верным бойцом, нашим верным разведчиком. Ну, а разведчик -- всегда впереди, всегда отрывается; иной раз может из-за того и ошибиться. Но разве он через то виноват? Разве можно за это расстреливать?! Да ведь в нем революционной крепости -- сплошная гора! А Шустрый кричит, что такого расстреливать. Нет, товарищи, я знаю: мы этак не сделаем. Мы, большевики, так не сделаем. Ну, давайте, ежели что, перебросим его в другой город, на другую работу, ближе к рабочим. Это я согласен... А вот Шустрого...-- и Щеглов, тряхнув хохолком, жестко вонзился ногтями в подвернувшуюся скатерть,--...Шустрого я предлагаю за неверную его подтасовку немедленно предать партийному суду!

-- Прошу слова! -- подскакивает Шустрый.

-- Личным вопросам места не дам! -- решительно режет Степан.-- Сам виноват...

Подпрыгнули у Шустрого запятые бровей и застыли в стойке удивленья.

-- ...Что ж, конечно, обязанность твоя не легка: раскапывать всякие подлости. Вот и привык видеть всюду либо завзятых мерзавцев, либо небесных героев. Отсюда и развел там всякую: "злую волю", "справедливость" и прочую обывательскую галиматью. О массовом терроре даже заковырялся. Полезнее будет, если Цека перебросит тебя на другую работу. Не беспокойся: в твоих же интересах.

Степан вдумчиво обвел взглядом остальных.

-- Итак?..

И вот тут-то, медленно и устало поднял свои веки Ткачеев. И набежал тогда на Щеглова жуткий холодок, как от надвигающейся и клубящейся серым дымом грозовой тучи. Потому что ползут свинцы этой тучи неотвратимо, обволакивают все небо зловеще, и не знаешь наперед -- напоят ли они притихшие нивы шумным ливнем или выстегают притаившуюся жадность полей треском прыгающего града. И кажется Щеглову, что сидит он застигнутый бурей, как заяц, согнувшись, и некуда ему спрятаться, и хлещет по его голове уверенный и жесткий градопляс Ткачеевых слов.

-- ...Да, оба неправы: и Щеглов и Шустрый, оба не вникли в суть дела. Ведь сам вот Щеглов здесь признался, что Зудин попал из-за бабы, из-за кружев слюнявой кокотки, ядовитой и яркой, как мухомор. А ведь Зудин ее пожалел. Пожалел оранжерейную лилейность паразита, выкормленного с нашего пота и крови. Он ее пожалел, что погибнет, вишь, эта нежная прелесть от наших мужичьих коневых сапог. Он ее пожалел против нас, и... погиб. Вот в чем суть.

От листочка лежавшей бумаги рвет Ткачеев конец, свернул трубкой, насыпал из кисета махоркой, и, дав прогореть синей вони тлеющей спички, закурил.

-- Ездили мы все эти дни со Степаном по заводам,-- продолжал он, окутываясь, как пароход, плотными клубами дыма.-- ...Говорить не дают. Гонят, гулом гудят. "Господа комиссары! Как генерал к городу, так вы теперь к нам на заводы, а раньше где были? Шоколады жрали?! Где ваш Зудин? Давай его сюда, мы расправимся! Нам не каждый день выдают по восьмушке, а он шоколад?! У нас с голодухи мрут в холоде дети, а он с балериной в шелках?! Чего вы его защищаете? Али рука руку моет? Покеда при нас вы эту мразь не изничтожите в корень -- мы вам больше не верим. Не верим, не верим! И никуда не пойдем. Жрите свои шоколады!.." И ведь это кричат все рабочие. Демагогия, скажешь? Отсталые массы? А по-моему, так они правы. Ведь шоколад-то он взял? Взял. Доказывай теперь, что это не взятка. От белогвардейки? Нет, от "нашей", от "большевички". Как же, надуешь! По роже видать мамзель-стрекозель, чем она дышит. И ведь об этом весь город, все красноармейцы, все заводы,-- все решительно

знают! Вот поди-ка ты теперь, Щеглов, и втолкуй им всем сразу, что все это махонькая ошибочка, так -- пустячки. Поди, поговори-ка с рабочими. Убеди, чтобы вышли на фронт, иначе город падет. Да что там -- с рабочими! Ты разубеди-ка вот нашу широкую партийную публику, ну, хотя бы в том, что Зудин не брал золота! А где ж оно?! Вот почему и эсэры и меньшевистики задрали носы. Их тянет на падаль. Ведь только подумать: в Совете, в нашем Совете поднять вдруг вопрос о роспуске чеки! И в какой момент, ты подумай-ка! А знаешь ли, Щеглов, что за это голоснула добрая часть наших коммунистов, не говоря уже о всех беспартийных?! Что на это ты скажешь? Или, дескать, на то мы и большевики, чтобы все разъяснить и всех переубедить. Где? Когда?! А потом, что ты будешь им там разъяснять? Не виноват-де, Зудин, что так, мол и так, мол, одиночный боец, разведчик. Заладил свое "не виноват". А кто тогда, спрашивается, вообще виноват? Никто и ни в чем. Ни ты и ни я, ни Колчак, ни Деникин. Ну, и что ж из-за этого? Будем в "невинности" нашей пакости делать, а заводы и Красная армия будут молчать: не виновны вишь! Ну, уж нет, милый, дудки. На эсэров и меньшевистиков и на всю свору обливателей -- нам наплевать.

Но чтоб наплевать на мнение наших рабочих, наших солдат,-- это уж, брат, извините. Отрываться от них мы не можем. Говорите тут сколько угодно: что и не культурные они, и с мелкобуржуазным наследством, и в политике-де не разбираются. Все можно клепать, а отрываться настолечко вот не моги, если мы эвон за какие мировые гужи ухватились и потащили весь класс за собою. И не зря они все так полезли на Зудина. При живой-то сварке с рабочею массой,-- шалишь, брат,-- на шелковые чулки не потянет. При живой-то сварке ты у рабочих всегда на виду, всегда на ладони, как под стеклом со всею твоею работой. Вот когда по тебе равнятся-то будут, лучше всяких твоих пропаганд.

-- Что же ты предлагаешь?-- пропилил шепотком Вася Щеглов.

-- Что я предлагаю? А первым делом не уминать зря невозвратное время, которого нет. Сейчас никого ни в чем не разубедишь и разубеждать уже некогда. Все товарищи -- на боевых участках. Враги наседают. Надо сейчас же поднять всех рабочих и кинуть их в бой,-- иначе город погиб. И тут рассусоливать нечего, Тут нельзя рассуждать, что вот был, дескать, когда-то хорошим товарищем. Если он спотыкнулся сейчас в основном и тем внес разложенье в наши ряды, в нашу спайку с рабочею массой,-- выход один. Кровь рабочего класса для всех нас дороже, чем кровь одного.

Шустрый стойко кивнул головой. А Вася Щеглов дрожко подернулся, как намокшая осенью птица, и его остренький носик еще больше отточился. Выпятив губы, Степан торопливо что-то писал на листочке бумаги, свернул, как записочку и, поманив Шустрого, отдал ему, пошептав что-то на ухо. Тот деловито убег, а в приоткрытую дверь подуло сырым сквозняком. Стало зябко, и Вася поежился.

-- Да, в здоровую яму попал он! -- продребезжал он, вздыхая.-- Но ведь можно же все-таки не убивать его, а как-нибудь этак...

-- То есть как же? -- не понял Степан.

-- Ну, хоть так. Взять там, что ли, к примеру, и объявить что его расстреляли, а на деле сплавить его тишком куда-нибудь за границу, на подпольную работу, подальше -- ну, там, в Америку какую-нибудь, что ли.

-- Хочешь партию поднадуть? -- зло усмехнулся Степан.-- Нет, товарищ Василий, мы политиканством не занимаемся. Не скрывать это надо, а на деле на этом партию надо открыто учить.

-- Выходит, стало быть, так -- что скажет княгиня Марья Алексевна? -- выглотнул Вася Щеглов.

Степан замер, густо налился кровью и хрястнул о стол кулаком, что есть силы, да так, что карандаш опрометью вылетел на пол.

-- Ну, уж нет, брат! Не Марья Алексевна, а партия! Да-с! Наша партия! Тут мы шутить не позволим. И партии надо сейчас показать -- на этом живом вот примере, не через кружки, а на деле -- в глаза показать, куда ведет наша идеалистика! "Одиночные бойцы"?! Если -- одиночные бойцы, то не забывай о связи с остальным классом. А то понадеются на "высокую честность" и "критический разум", а про копеечку, про рабоче-крестьянскую недоеденную копеечку и забудут.

И кажется Васе Щеглову, что плывут перед ним и кружатся, как листопад в сентябре, вереницы несчетных недоеденных этих копеек.

Вот кряхтит за сохою крестьянин; тяжелой, как комья земли, волосатой рукою стирает на шее зудящие капельки пота. И видит крестьянин в мечтах, как спело уже колосится и рябится поле, как сытые зерна шуршат в решете молотилки, как жмутся тугие мешки. И жадная боль нижет сердце, когда забирает пузаны базар, а журчащие груды побурелых копеек хватает чужая рука. Подать, подать! куда ты идешь?!

В замызганном мазутном пиджачишке шмыгает рабочий возле станков. Там подвинтит, тут подправит. Трезвонит в ушах лязг и грохот, и сыпят станки бесконечным трескучим дождем зубастых гвоздей. Эти гвозди в кубастеньких ящичках рожают мешки медяков. Но знает рабочий, что завтра получка, а нужно покрыть все долги -- и вновь ничего не останется. Зло огрызнется жена, подтырив дырявый подол и сунув сердито в котомку на завтра усохлый ломоть, И медленно его растирая зубами и слюня языком, чтобы дольше продлить наслаждение пахучего черного хлеба, будет думать рабочий: "Разве гвозди стоят ломоть? А где ж остальное?"

Плывут и кружатся, как листопад в сентябре, вереницы несчетных недоеденных жалких копеек. Липнут в бурые вязкие кучи. Как тучи, вздымаются к небу. Горами густеют, твердеют и вдруг заостряются в грани гранитных громад, отражающих сумрак в асфальте. Но сумрак бежит и играет от переблесков граненых окон магазинов. Сверкают в витринах шелка. Звенят из-за стекол бокалы. Вихри музыки разноцветными лентами плещут на улицу.

Матовый драп в белом кашнэ и с душистым цветочком в петличке небрежно сосет аромат папироски и ласково тискает в лакированный кузов авто что-то нежно шумящее в ворохе пухлых мехов.

-- Ах, мон дье, мы забыли купить шоколад! Он ведь так возбуждает...

Гневно ревут и кружатся, как листопад в октябре, залпы несчетных недоеденных колких копеек "Отобрать! Отобрать! Отобрать!" Щелкают ломко об штукатурку. С дребезгом звенькают в стекла. Тарахтят и грохочут железом по крышам. В гулких улицах пусто. За зеркальной витриной, проколотой круглыми пальцами выстрелов, -- в жестяных тарелках, без соли горох и пожелтевшая злостью селедка.

Тают, редеют, тончают тощие обглодки кровавых копеек. Их жует, и жует, и жует без конца -- борьба из-за них. Рабочий заскорузлыми пальцами шилом дырявит новую дырочку в сыромятном пояске.-- Надо потуже! Нехотя смотрит на поле крестьянин.-- Эх, если б отбиться!

И мечтает Вася Щеглов, как опять друг за дружкой вдогонку все гуще и гуще опять понесутся хороводами вихри недоеденных жестких копеек. Как, свиваясь в ковкую массу, они зазвенят стальными мослами махин на бетонных плотинах упругих и взнузданных рек. Как загудит из-под них в проводах гремучая сила, разнося всему миру яркий свет, жаркий зной и ту дивную мощь, от которой в роскошных зеркальных дворцах, среди сказочных рощ будут петь и блестеть вереницы машин. Вереницы веселых послушных машин будут неистово пучить для всех на потребу и наваливать быстрыми грудами, -- на, не хочу, -- драп, ботинки, супы и жаркие, шелка, шоколад и фарфор, полотно, духи и бисквиты, бархат и нежный батист. Загорелые, свежие, прибежавшие со спортивных площадок парни и девушки среди цветников будут разучивать стройные песни о том, как построили люди новый мир коммунизма из заскорузлых, кровавых, недоеденных чьих-то копеек.

Будто бы целую вечность смотрит задумчиво Вася Щеглов. Но это лишь миг. Глухо звякнули стекла. Так непрошенно. В черные окна уже заползает синючий рассвет, а Степан так же упрямо режет воздух карандашом, плотно сжатым в руке.

-- ... И если кто-нибудь из нас об этих копейках забудет, если кто влюбленно размякнет сейчас от красивости и сладости этих кровяных грошей, превращенных паразитами в роскошь,-- значит тот загнил. Тогда, если есть время, спасай его, окунай в самую гущу рабочих низов. Если нет времени -- бей. Иначе все наше дело, все наше великое дело борьбы сможет погибнуть надолго.

-- А все-таки Зудина жалко, -- вздыхает устало Щеглов. -- Ах, если б вы знали, товарищи, как Зудина жалко!..-- и его голосишко осекся.

В руках у Степана что-то хрустнуло ломкое. А спокойный Ткачеев вдруг встал и рванул себе ворот рубашки. Отлетевшая пуговица щелкнулась о пол.

-- Жалко?! А ты думаешь нам,-- и он мгновенно всех поровнял сверлящимся взглядом,-- нам не жалко?! Знаешь, Щеглов...-- и Ткачеев, хрипя и шатаясь, вдруг сбил табуретку и грузно шагнул на него, хватая его за смякшие плечи. Качалась его борода, будто черная туча, прорезаемая широкой молнией желтых зубов. А тяжелые веки Ткачеева поднялись, словно люки, и сверкнул из них трюмный гудящий блеск раскаленных в огонь кочегарок.-- Эх, Щеглов... да любой бы из нас здесь с радостью б стал за товарища к стенке. Но разве этим поможешь? Разве этим спасешься от белых? Разве этим избавишь хибарки рабочих от кровавого воя безумных расправ?! Тебе его жалко, его одного?! Ну, а других, а всех остальных? Их не жалко? Как быть с ними? Ты о них позабыл?..

И растаяла вмиг в сознаньи Щеглова сонная теплота бузины. Засвистел перед ним пожар лопающихся балок, треск звенящих окон и придушенный режущий крик насилуемых женщин. От этого зубы скрипят, стынут жилы и воют собаки.

Посиневшие стекла опять дребезгнули.

-- Началось, видно,-- встрепенулся Степан.-- Надо поторапливаться, а то уже бой. Если бы только продержаться до завтра, а там мы покажем.

Дверь скрипнула и впрыгнул запыхавшийся Шустрый. Он перевел дух:

-- Дела наши плохи,-- и шагнул к табурету,-- мы отдали вечером Осенниково и Стеклицы. Противник ввел в дело английские танки. Фомин сейчас арестовал в прибывшем полку одиннадцать офицеров: готовили переход вместе с частью. Курсанты по-прежнему держатся на опушке леса у Крастилиц.

Степан, торопясь, развернул хрустящую смятую карту-трехверстку, и все дружно склонились над ней.

-- Нд-да...-- промямлил он.

-- Игнатьев сейчас говорит по прямому с Москвой. Обещал прийти вслед за мной, если не задержит что срочное.

-- Ну, что ж, -- покачал головою Степан,-- ничего не попишешь. Дело ясное: времени нет. Я говорю о том, кто забыл про копейки. Надо немедленно двинуть всех рабочих на фронт. И для этого именно: "для этого", а не "за что", Зудин будет расстрелян.

Молчанье. Шелест расправляемой карты да тиканье часиков на руке у секретаря.

-- Д-ддда, -- выдавил, наконец, из себя Щеглов с посеревшим лицом и смятыми глазами, и его кадык глотнул этот звук. Он вдохнул. -- Если бы вот рассказать, -- начал он, -- если б рассказать обо всей этой нашей борьбе, тяжелой борьбе, будущим поколеньям...

-- Некогда это рассказывать, брат,-- перебил Степан, быстро вставая,-- да и не поверят, пожалуй...

-- Поверить, пожалуй, поверят,-- процедил Ткачеев,-- но только не все это поймут, это верно. А нытики, те поскулят наверняка и о жертвах и о жестокости. Ну, да черт с ними, не они делают революцию.

Он опять достал махорку и вновь закурил.

-- Ну-с, так вот,-- встрепенулся Степан, снова прищуря глаза и обращаясь к секретарю,-- запишите-ка такого рода постановление: "Бывшего предгубчека Зудина... за отрыв его от рабочих и партийных масс... и за прием на службу в чека... белогвардейской шпионки и взяточницы... бывшей балерины, гражданки Вальц... от которой Зудин принял для семьи своей чулки и шоколад... и за недостаточный надзор за вверенным ему... Зудину, аппаратом губчека, следствием чего... явилось взяточничество сотрудника, гражданина Павлова... и других, следствие по делу которых еще продолжается"...-- Написали? Так вот: "Каковыми преступлениями своими он, Зудин... подорвал доверие рабочих масс к советской власти... и в острый момент белогвардейского наступления... внес губительное разложение в дружный фронт трудящихся...-- вышеупомянутых: Зудина, бывшего предгубчека, а также сотрудника его, Павлова... и бывшую балерину Вальц... расстрелять... Точка. Приговор привести в исполнение немедленно. Члены судебной комиссии..."-- Готово?

Он взял исписанный лист протокола, прищурясь, прочел и расчеркнулся. Расписался и Ткачеев. И Щеглов подписал. И глаза его были встревожены и жестки.

Шустрый ходил по комнате из угла в угол, растерянно шаря по пустым стенам озабоченными глазками. За окнами стало совсем сине-сине, и все отчетливо сейчас услыхали, как то и дело звякали стекла от буханья дальних пушек.

-- Вы велите-ка,-- обратился Степан к секретарю,-- вы велите-ка машинистке Игнатьева сейчас же перепечатать наше постановление на машинке. Одну из копий надо будет срочно передать по прямому в Цека. Другую немедленно сдать в типографию. Через три часа оно должно быть во что бы то ни стало расклеено по всем улицам и развезено по заводам. В газету тоже сейчас же обязательно. Я вместе с Игнатьевым выедем на фронт, должно быть, сейчас же.-- Он взглянул на часы.

-- Необходимо будет только Фомина еще повидать. Что он там успел сделать за ночь в чека? Впрочем, не зайдешь ли ты к нему, Ткачеев?

-- Нет, я лучше примусь как можно скорей за заводы. К обеду я уже все их объеду и наберу крепкие рабочие дружины. Уже к вечеру все это будет на фронте. Этак будет верней.

-- Да, да, да, хорошо! Ну, а ты, Щеглов, оставайся здесь,-- кинул ему Степан, заметив что тот торопливо застегивает уже надетое пальто.-- Ты останешься здесь и будешь держать связь с Москвой и с нами.

-- Эх,-- чмокнул Щеглов недовольно,-- а я было тоже собрался сейчас на заводы...

-- Нет, уж тебе прийдется посидет этот денек в Исполкоме. По заводам поедет Ткачеев, прихватив кой-кого из оставшейся в городе местной публики. А ты уж здесь посиди, пока мы не вернемся. Поговоришь по прямому с Цека. Да ведь вот еще, чуть было я не забыл! Комбриг Шкляев прислал вчера вечером мне срочную телеграмму. Ему до зарезу нужно шестнадцать пулеметов. Я еще с вечера распорядился,-- сейчас их, наверное, уже приготовили. Надо будет их срочнейшим порядком немедленно же отправить с кем-нибудь на автомобиле к Шкляеву. Поговори-ка об этом с Лаврухиным. Я и сам бы повез, да думаю, что мы проедем сначала к Крастилицам. Надо будет прежде взглянуть, что делается у курсантов.

Все уже были одеты в пальто, и Шустрый натягивал тужурочку. Секретарь унес протокол и завернул свет. Стены сделались серо-сизыми. За окнами стлался молочный туман. Стекла упруго вздрагивали и дребезжали.

-- В-вы разрешите мне,-- остановился Шустрый бочком перед Степаном,-- вы разрешите мне отвезти эти пулеметы от Лаврухина к Шкляеву. Кстати я и останусь там, у него, пока положение будет серьезным. Ведь все равно же мне здесь больше делать абсолютно нечего,-- и он потупился.

-- Да, да, поезжайте. Это отлично так будет,-- ответил Степан.

Все направились к дверям.

-- Да, а ведь надо будет, все же, кому-нибудь из нас объявить Зудину о нашем решении. Ты, что ли, сходишь, Щеглов?

-- Нет, Степан, я прошу... не могу... тяжело мне...

-- Ну, и мне тоже некогда. Придется, очевидно, тебе, Ткачеев, зайти сейчас к нему на минутку...

Вышли из комнаты все сразу деловою сплоченной торопливой гурьбой. Стало сразу тоскливо и тускло. На полу валялись окурки и клочья бумаги. На красной скатерти стола лежал брошенный Степаном переломленный надвое им карандаш. А на табурете остался вдруг, так неожиданно ставший теперь никому не нужным, позабытый Шустрым его туго застегнутый черный портфель. Пахло табачным дымом, который качался густой сизой пеленою, напоминая о грохоте ближнего боя и о треске предстоящего расстрела.

IX

Какая-то длинная тяжелая цепь тянет Зудина за руку, и нет больше сил сопротивляться. Он жалобно стонет, ворочается и открывает глаза. Серое утро смотрит трезвым расчетом, а у кровати стоит, неожиданно так, бородатый Ткачеев. Зудин вскакивает. Ему сразу же очень тепло... до горячего, и сердце стучит о стенки груди, как пулемет.

-- Я разбудил вас, товарищ?! -- Как мягко и радостно он говорит. Кожа Зудина вся горит от волненья, и пот выступает.

-- Но не было времени ждать. Надо спешить, и мне поручено сообщить вам наше решенье.

Он садится с ним рядом на жесткий, колючий тюфяк измятой кровати. Зудин весь так и пьет жадно отблеск его тяжелых опущенных глаз.

-- Да!.. Расстрелять,-- отвечает он, так грустно и мягко на немой вопрос, подымая глаза.

-- Я это знал,-- шепчет Зудин и ласково берет Ткачеева за руку,-- я это знал.

Ткачеев вздыхает.

-- Тяжелое, товарищ Зудин, это дело! Вы не подумайте, что мы с ненависти там какой или мести: выхода нет больше! -- и поднял Ткачеев на Зудина свои глубоко запавшие замученные глаза. -- Конечно, этот Шустрый много ерунды натрещал. Но ведь и он парень хороший, честный такой, убежденный и искренний; недалекий немножко -- ну, да где же всем за звездами гоняться. Конечно, мы с ним не согласились.

-- А я было думал... -- как бы пугаясь чего-то мелькнувшего, дернулся Зудин.

-- Нет, мы рассуждали просто: конечно, ты виноват, ты был виноват. Ты обострил недоверие рабочих так, что может погибнуть все наше дело. Ты понимаешь: не мы, а наше дело! И дернула тебя нелегкая пожалеть эту бабу. Мало ли этой жалкой сволочи осталось нам по наследству. Ведь ты же старый революционер?! Ты должен был глядеть только в главное, и поэтому: мимо, мимо бы! Но, разумеется, эта старая гниль очень прилипчива. Себя поскребешь,-- все мы, пожалуй, такие же, за самыми малыми исключеньями. А когда вскинешь после этого взгляд на ту гору, на которую мы так дерзко влезаем,-- даже самим себе противны делаемся. Много уже липнет к нам этой слизи. И все это было б, конечно, сущей ерундой, если бы мы были одни. Какие есть, такие и есть. Черного кобеля не отмоешь добела. А то ведь мы тащим: мы вожди! Стоишь иной раз на площади на митинге и прищуришь глаза: сколько под тобой этих самых голов, голов, голов, словно волны на море, -- не видать им конца-краю. И ведь, знаешь, революцию-то, переустройство мира на новых началах делают вот они, эти самые головы, а не мы одни. Это, товарищ, мираж, самообман, будто мы, вопреки им, свою волю творим. Предоставим думать так дурачью. Ни черта не можем мы делать насильно. Нет, мы лишь сковываем в единую волю их стихийные желания. Мы сберегаем от непроизводительных затрат и тем увеличиваем в тысячи раз и направляем в нужную цель напор нашей классовой силы. Только то мы делаем и можем делать, что подпирается вот самыми простыми и грубыми желаньями вот этих тысяч голов. Самая возвышенная идея растет из корней самого узкого и жадного интереса масс. И это правильно и это хорошо.

-- Ребята, хотите сытой и привольной жизни? Чтоб не трястись в драных опорках над черствыми корками хлеба! Чтобы жандармы не гноили бы больше рабочих по тюрьмам! Я говорю вам: хотите?!

Рев идет, пена брызжет у них по губам.

-- Я укажу вам, как это сделать, чтобы всем их раздобыть. За мной все! Разбивай это! Бей то! Наворачивай третье! -- и рушатся бетонно чугунные стены, стальные балки трещат, как гнилые лучины, потому что это делают они, массы, которые сами порою мало что знают, но верят, что сейчас вот все они получат желанную сытость и волю.

-- Но стены разбиты, воля завоевана, а сытости все нет -- как нет. Ты пачками ловишь усталые, злые глаза недоверья. Но разве ты их обманываешь?! Разве ты сам-то не знаешь, что путь к этой сытости хоть и труден, но верен. И ты смотришь уверенно, открыто и честно им прямо в глаза, потому что ты прав, ты им не лжешь. Ты один твердо верен самому широчайшему интересу. Понемногу все успокаиваются.

-- Где же сытость?

-- Товарищи, вы слишком нетерпеливы. Вы встали всего лишь на первую ступеньку. Запаситесь выдержкой и злостью к врагам, чтобы таким же стремительным, дерзким напором дружно подняться -- и дальше. Или вы не видите, что желанная сытость к вам ближе?

-- Видим, видим, конечно, -- кричат они восторженно, но они ровно ничего еще пока не видят и не могут так скоро увидеть, они только искренно верят, что видят.

-- Ты их ведешь, и они тебя слепо любят, свято боготворят. Ты их герой, кавалер всех орденов, побрякушек, регалий, ты их бог, диктатор, добрый черт,-- ну словом все. Ты крушишь вместе с ними все преграды, что попадаются нам на пути. И эта масса рада жизнь положить вся, как один, за тебя. Ради сытости? Нет! Ты знаешь: о самой-то сытости она минутами совсем забывает. Она упивается невиданно дивным размахом, процессом самой борьбы. Но не подумай, что теперь ты можешь тянуть за собой всю эту массу, пользуясь только одним ее увлеченьем. Маяк этой сытости, ради которой она поднялась, должен светить постоянно,-- все ярче и ближе и ощутимей. Только тогда наш успех улучшения устройства человеческого общества обеспечен. Только тогда вся эта масса рада пожертвовать жизнью ради борьбы, ради идеи твоей, которую пускай досконально не знает и не понимает, но великолепно чует ее своим подсознаньем. Она ощущает ее в тебе, в твоем сердце, в твоем образе, в твоей форме, в твоей честной, открытой любви к этим самым томящимся массам,-- любви, тоже ежесекундно готовой на смерть ради счастья всех их исстрадавшихся. Вот тогда ты становишься пульсом, сердцем, мозгом всей этой святой и великой толпы. И ты можешь с ней делать величайшие сказки чудных подвигов, которые еще не видывал мир, и, взглянув на которые, небо обвиснет в немом изумленьи разинутым ртом. Только гляди, сам не ошибись. Все рассчитай, взвесь, передумай, проверяй каждый свой личный и общественный шаг. Вникай в суть всего, чтобы потом перед новой, неожиданной раньше преградой не проявить ни полтени смущенья, а шутливо крикнуть: "Даешь?!"

-- Вот смотри на себя, как ты весело сверкаешь глазами и глядишь мне в рот. А теперь ты подумай, вообрази только, как один из этих могучих вождей, что зовет и ведет огромные массы голодных и жадных страдальцев на борьбу, разрушение и подвиг,-- ты понимаешь ли: подвиг самопожертвованья! -- вдруг нагибается и прячет, не думая ни о чем, просто так, машинально, какой-то отбитый кусочек старой роскоши к себе в свой карман. И все это, понимаешь ли, видят. Ты только подумай.

Ткачеев снова вздыхает и долго крутит головой.

-- Уж очень, товарищ, высоко мы залезли: никуда не спрячешься. Как же тут быть? Борьба слишком жестока и рискована. Из ошибок и поражений ткутся паруса недоверья. Каждый зорко смотрит друг за другом. Каждый

следит за общим достиженьем. Недоверчивы мы, недоверчив Шустрый, и ты недоверчив. Не качай головой. Я видел, как ты смотрел на нас там, в комиссии, как на враждебный тебе узколобый синклит. Ведь это так чувствовалось. И вот, вся рабочая масса прядает резко назад, подымая все гуще и гуще леса кулаков.

-- Изменник, предатель! А может быть?.. ну да, ну конечно, и все вы такие же! Одним миром мазаны! Бей их! -- звучит где-то сперва совсем одиноко дерзкий провокаторский голос. Вот и скажи, как тут быть?! И ведь теперь еще одна только секундочка промедленья -- и, нас всех растерзают в клочки: объяснять тут и поздно и невозможно! Враг у ворот. Город падет, если мы сразу же не двинем всю массу рабочих на бой.

-- Масса никогда не поймет длинных оправданий. Масса понимает лишь односложное: да или нет! И все дело,-- понимаешь ли, все великое дело борьбы за счастье миллионов людей, все что уже добыто столькими жертвами, с такими усилиями, страданиями и кровью нескольких поколений,-- сейчас вот разлетится, как дым как мыльный пузырь, из-за ничтожнейшей детской неосторожности одного несчастного товарища, который устал, оторвался и совсем позабыл, кто он и где он находится. Ну, скажи, что же с ним делать, чтобы спасти все великое дело?!

-- Убить,-- глухо, зловеще произносит Зудин.

-- Да, убить! -- подтверждает Ткачеев.-- И мы убиваем тебя, чтобы спасти наше дело, и зная, что все это сам ты должен понять...-- и Ткачеев крепко стискивает его руку и встает.-- Да, конечно, все это ужасно тяжело, если во всем этом разобраться как следует. Вот Щеглов предлагал даже поступить так, чтобы тебя не убивать, а только сделать для всех искренний вид, что убили, куда-нибудь скрыть, ну послать за границу, что ли, навсегда, на подпольную работу, под чужою фамилией. Но уж очень, брат, трудно, немыслимо трудно что-либо сделать, чтобы это осталось для всех неизвестным, незамеченным... Уж очень мы все наверху, на глазах. А кроме того, мы ведь партия, и партия колоссально большая. И кого только у нас нет? Не будем говорить о подозрительных субъектах -- в кубанках, галифе и венгерках, которые жадно бегают глазами по сторонам, и за которыми нужен глаз да и глаз. А сколько таких, которые честно и искренне, рука об руку с нами рвутся вперед, но стоит только возникнуть малейшей задержке, замешательству в наших рядах,-- вот, как сейчас,-- и сразу же мертвенная бледность ползет, как мокрица по лицам и их языки заплетаются, а глаза, как крючки, цепко хватаются за первую соломинку, которая, сам знаешь, тонет. Скажешь, мало таких?.. И вот если сейчас мы объявили бы всем им, в массе честнейшим и преданным людям:-- Знаете, Зудин натворил уйму гадостей, сам того не сознавая:-- как бы ты думал, поняли бы они что-нибудь? Поверили бы?! Не потом, когда в дикой и долгой борьбе за переустройство всего мира они переустроили свои мозги. Нет, а сейчас вот, когда все оно есть так, как есть?! -- Никто не поверит. Ты понимаешь ли,-- никто не поверит: только вспомни о Шустром!.. И ты знаешь, что подумают?! -- Ткачеев сердито размахнулся рукою.-- Черт знает, что подумают!..-- И ты думаешь, этих опасностей в виде шоколада, шелков, балерин, золота, вин, музыки, картинок, конфеток и всяких других пустяков и бирюлек, в которых, по существу, абсолютно ничего нет презренного и гадкого, но которые сейчас просто и непривычны и недоступны для массы, потому что на всю массу этого добра не хватит, так как все это только остатки мишурной шелухи от небольшой горсточки прежних властителей мира! Ну, скажи, разве этих проклятых опасностей не валяется чересчур что-то много под нашими ногами?! Именно, под ногами всех нас, идущих впереди, то есть партии. Или ты думаешь, соблазн не велик? Или мы будем хвалиться, что среди нас очень много таких, у которых есть монашеская закалка подполья? Да и то, надолго ли хватит ее?! -- И он опять сердито потряс бородой. -- Ну, и что же скажут тогда остальные, когда узнают, что старый, испытанный и уж, казалось бы, честнейший Зудин, который так "подло всех обманул",-- и это, брат, верно, что "обманул" и именно "подло всех обманул", и который брал взятки и шоколадом, и шелком, и золотом:-- в этом последнем, ты их тоже не разуверишь, потому что вековая нужда их заставила быть подозрительными на этот счет,-- и вдруг, этот самый злодей Зудин на словах-то расстрелян, а на деле... спрятан... вождями!.. Ай, да вожди!..-- Ты понимаешь, Зудин, что это было бы благодатным, теплым, весенним дождем на робкие всходы наглых хищений, лицемерного карьеризма и прочего бурьяна, который, как еж, жадно топорщился кверху, к шумному росту, на гибель нашему делу.

-- Если Зудину это было можно, это сошло,-- то нам и подавно.

-- И мы обязаны примерно тебя наказать, дав урок остальным. О, конечно, в другое время мы смогли бы все это не спеша разъяснить, а тебя перекинуть в другую работу. Но сейчас, сам видишь, времени нет. Времени нет. Надо мгновенно вернуть подорванное тобою доверье. И двинуть всю массу в бой, в смертельный бой. Вот почему теперь мы отвечаем на это громоносным кровавым ударом. Мы кричим им всем и себе, прежде всего:

-- Беспощадный террор! Кровавый ужас! Всем, кто сейчас забудется, всем кто устанет, кто имел наивную дерзость встать для революции впереди миллионных масс всего мира, не рассчитав своих сил!

-- И ты посмотри, как мы поэтому твердо и исторически неуклонно, точно стальной острейший резец, движемся все вперед и вперед несокрушимейшим клином. Пусть мельчайшие крошки нашего стального острия незаметно отскакивают, ломаясь от внешних ударов,-- борьба требует жертв. Пусть порой и внутри что-то жалобно хрупает,-- но сейчас же следующий заступает опустелое место, и острый стилет неотвратимо и быстро ползет. И ты подумай только: на гребне какой гигантской, всемирной волны мы построили из самих себя этот дерзкий клинок и как верно мы режем, уж казалось бы, такой затвердевший десятками тысяч годов гнойный мозоль на теле всего человечества,-- эксплуатацию одним человеком другого. И знаешь, мы быстро добьемся своей цели, если только останемся искренни, честны и крепко спаяны со своим классом, а также беспощадны и к другим и к себе. Вот какова, Зудин, вся наша и твоя доля! Ну, а теперь о разных мелочах. Мы постановили не медлить, и приговор привести в исполнение сегодня же днем. Не так ли?-- и Ткачеев опять пожал его руку.-- Вальц и Павлов уже, наверное, расстреляны сегодня утром.

Он помолчал.

-- Кроме того, эти дни просилась на свидание к тебе твоя жена с детьми. Мы отказывали до сегодня. Ну, а сегодня,-- как хочешь. Они должны сейчас прийти вниз, к коменданту, и теперь ты решай, как ты: их примешь или опять лучше отказать?

Зудин мучительно сжался, скрививши свой рот и втянув через зубы воздух.

-- Пускай придут,-- протянул он устало.

-- Ну, до свидания!

-- До свидания.

-- Не сердись, брат. Будь молодцом.

Но Зудин не мог дальше стоять и, опустившись бессильно, лег навзничь, глядя в потолок.

Давно когда-то, в незапамятном детстве, так же, как сейчас вот, лежал он часто, запрокинувшись кверху и глядя не в потолок, нет, а в такое вдруг страшно близкое, голубое, бездонное небо. И ручонки держались за землю, чтобы не упасть. Неслись на просторе тонкие длинные нити серебряных паутинок, извиваясь от легкого ветра, а рядом в овраге, часто поросшем сухим и колючим репьем, летали и пинькали стаи пестрых щеглов. И было и мирно, и весело, и в то же время о чем-то так грустно-прегрустно, тоскливо. Пахло чахлой травою, пригретой прощальным солнышком, и помойкой, сверкавшей невдалеке огоньками битых пузырьков и больших золотисто-зеленых таинственных мух. И совсем не хотелось думать, что там вот, совсем недалеко отсюда, за грязным двором, в заплесневелом низком подвале ожидает его с нетерпением, пославши за синькой в лавочку, чахлая мать, с висящими тряпками бесцветных грудей и с простиранными до крови белыми морщинами выпитых пальцев. Вот точно так же томительно грустно сделалось Зудину и сейчас, а почему именно так сделалось -- он не знал ничего, ни теперь, ни раньше.

Но в комнату донеслись из коридора чьи-то очень громкие и знакомые голоса. Зудин встрепенулся, вскочил, оправил кровать и, стараясь улыбнуться, смотрел, как мимо часового в комнату мягко и робко ввалилась Лиза и с нею испуганно жавшиеся к ней Митя и Маша.

"В тех же худых стареньких валенках",-- подумалось Зудину, и он неестественно развязно и весело протянул им руки.

-- Ну, вот и здравствуйте! Небось соскучились? Испугались? -- пытливо уставился он на Лизу, вдруг сразу в изнеможении осевшую на табурет.

-- Леша, голубчик! Что же это? Что же это?-- и женщина навзрыд разревелась слезами.

-- Эх, Лиза! какая ты, право, у меня мокроносая! Ну, что такое особенного случилось? Арестовали на пару деньков? Уж, казалось бы, к этому пора и привыкнуть?!

-- Да, но тогда жандармы. А теперь ведь свои! И все говорят, все говорят, что мы пропали, что тебя уже расстреляли, что нашли какое-то золото, шоколад... Леша, милый! Ведь это же пытка! Ведь это же пытка! Ты пойми! -- и она опять, истерично вздрагивая всем телом, скачками выговаривая звуки слов, залилась слезами.

-- Мало ли что говорят! Сама-то ты ведь знаешь настоящую правду? Так что же тебя пугает? Бабьи сплетни подворотных кумушек?! Ну, да ладно. Брось, брось, перестань, успокойся! Все теперь прошло, и плакать больше не о чем! Ну, улыбнись!

-- Митя, Маша, давай-ка, садитесь отцу на коленки. Я покажу вам, как скачут верхами казаки. Да не бойтесь! Вот так. Ну, теперь держитесь ручонками крепко за пиджак.-- Ехал казак вскачь, вскачь!..

Спустил детей сразу на пол.

-- Ну, чего же ты, Лиза, все рюмишь? Это что же, без конца, пока табурет под тобой не расклеится? Ну, о чем же?

-- Леша, милый, мне страшно. Я ничего-ничего не знаю и ничего не понимаю: что, за что, почему?!

-- И нечего тут понимать. Воспользовались белогвардейцы, что мы взяли с тобой шоколад и чулки, и подсочинили кое-что. Ну, вот меня и арестовали, чтобы проверить. И теперь выяснили, что все это неправда, и дело кончено!

-- Ах, Леша, Леша, я так испугалась. Ведь и меня в тот же день арестовали: был обыск, все перерыли, и двое суток я не могла выходить из квартиры -- у дверей стоял часовой. Народу скопилось на двор, почитай, со всех кварталов, грозили бить окна. И буржуи и свой брат. Насилу разогнали. Потом приходил какой-то маленький бойкий, весь такой стриженный и с портфелем; все выпытывал, не брала ли я золота, или ты? Уж как я тряслась вся! -- сама не понимаю, с чего. Все говорили, что тебя уже нет в живых. Ну, потом часового сняли и сказали, что могу ходить, куда угодно. Только вот к тебе не пускали. Да и боязно что-то со двора выходить, ан, и дома не сладко... А потом, знаешь ли, какие только гадости про тебя ни говорили?! Будто ты... жил... с Вальц! -- и, стыдливо нахмурясь, покраснела.-- Леша, неужели это правда? Ты? ты меня обманул?!

-- Что ты, Лиза? Какой, в самом деле, вздор! Я все такой же твой верный и неизменный Алексей!

Она облегченно вздохнула.

-- Что же дальше теперь будет? Ты говоришь, все дело кончено? Значит, тебя отпустят опять на свободу? А то без тебя мы пропали. Я совсем потеряла голову. Пушки рычат все дни. Сегодня -- особенно. Буржуи шипят на всех перекрестках. Ты ведь знаешь: говорят, что сегодня город сдают...

Выпрямился стрелой. Окаменел.

-- Город сдают?! Нет, это неправда. Понимаешь, это неправда!..-- Он быстро зашагал взад-вперед, пристально вглядываясь в окна.

-- Леша, боже, как ты похудел и осунулся! Неужели тебя здесь не кормят?!

-- О чем ты?.. Что ты говоришь?.. Ах, кормят!.. Успокойся: кормят отлично, а похудел потому, что слегка прихворнул от простуды. Не заметил как-то раскрытой форточки. Но теперь все прошло. Завтра буду на воле. Только знаешь, Лиза, это ужасно неприятное дело. Вальц оказалась простой белогвардейкой и воровкой. Помнишь, как я говорил тогда тебе: не надо было брать ни чулок, ни шоколада. Ах, как я был тогда прав!.. Она так меня подвела, что мне после этого совершенно нельзя оставаться в России. Цека срочно отправляет меня за границу, в Австралию, на работу. Это очень, очень далеко, и командировка протянется -- самое меньшее -- год, если не больше. Самое ужасное во всем этом то, что совсем не удастся писать. Ведь это за океаном, по ту сторону земного шара. Возможно, что придется пробыть даже несколько лет... десяток, а быть может и больше. И ничего не поделаешь: разве революция и счастье всего мира для меня не дороже? Ну, скажи?! -- и он ласково заглядывает в ее вновь заплывшие слезами глаза, прильнувшие к его теплой руке.

-- Леша, ах, как это больно! Осиротеть, остаться совсем одинокой во всем свете, без тебя?! Леша милый, миленький мой, отговорись как-нибудь! Мой родименький, не уезжай.

-- Какой вздор ты мелешь, а еще: жена революционера! Гордись, что твой муж бросает семью, родную страну, быть может, надолго, быть может, навсегда, чтобы на другом конце света бить своею острою киркою мысли и дела по цепям, оковавшим всех нас. Лизочка, милая, ты только подумай об этом подвиге: разве это не величайшая гордость?!

Нависло тяжелое долгое молчанье с тихим плачем жены.

-- Тебя здесь не оставят: детям помогут; словом, ты не пропадешь. В случае чего, отыщи Щеглова, Василия Прокофьича. Он сейчас приехал сюда из Москвы. Все обойдется, поступишь на фабрику. Непременно даже поступай на фабрику. Детей можно пока к тетке в деревню. И, кроме того, ты совершенно свободна. В самом деле, быть может, я совсем не вернусь. Я нисколько на тебя не обижусь, если ты выйдешь замуж за другого, лишь бы он оказался таким же честным и смелым, как я, человеком. Напротив, это будет даже гораздо лучше, чем киснуть монашкой во вздохах о прошлом. Ребятишек, разумеется, только при этом не забудь. Из них надо сделать хороших и крепких людей, умеющих брать жизнь сразу за глотку, а не нагибающихся вниз!

-- Леша, мне страшно! Ты так странно сейчас говоришь, будто в самом деле прощаешься. Может быть, ты от меня скрываешь что-то ужасное?

-- Вот дура! Чего же мне скрывать? Ничего более ужасного мне не угрожает, иначе я вел бы себя по-другому. Просто я трезво смотрю на вещи и говорю: очень скоро я должен уехать чрезвычайно далеко, так что, быть может, больше никогда не встретимся. Я даже очень боюсь, как бы приказ об отъезде не пришел слишком быстро, например, завтра утром. Тогда это свиданье окажется помимо нашей воли последним. Поэтому давай-ка простимся на всякий случай, как будто бы навсегда,-- тем радостней будет новая встреча, если только будет. Вот и все! -- и они нежно обнялись.

Он отошел и стал гладить по волосам оробевших детей.

Только Лиза продолжала нервно всхлипывать, как на солнце ручьи после прошумевшей грозы,-- через час их не будет.

-- Эх, Леша, если бы ты знал, как все это тяжело! Как все это мучительно тяжело, словно вся наша жизнь -- вдруг насмарку. Конечно, я тобою горжусь, и еще как! Ведь ты же мой светлый, единственный! Ты не такой, как все! Поэтому-то я так безумно и люблю тебя. Но жить без тебя, знать, что ты далеко где-то скитаешься по чужбине одиноко и, может быть, погиб уже, и только я этого не знаю еще и никогда-никогда не узнаю об этом,-- ну скажи, разве это не пытка?! Ах, Леша, Леша, у меня нет больше сил. Это же всю жизнь, ты понимаешь -- всю жизнь, как только я встретилась с тобой, я, как проклятая, все мучаюсь вечною пыткою сердца! И домучилась! Вот!..

И в безысходном страданьи эта неинтересная бледная женщина опустила свой прозрачный от плача струящийся взгляд куда-то сквозь пол, силясь что-то отыскать там, в глубине... но ничего не нашла.

-- Лиза, здесь срок свиданья всего лишь десять минут: такое уж правило. Я боюсь, что мы много просрочили. Собирайся, моя радость. Лучше зайди завтра опять, предварительно справясь у коменданта по телефону, не уехал ли я?!

Вздохнув тяжело и глубоко, Лиза стала собираться, кутая голову в теплый платок.

-- Да, вот еще! Как это, в самом деле, я забыл тебя предупредить о самом главном. То, что я рассказал тебе здесь о своем отъезде, есть величайшая партийная тайна. Об этом никто не должен знать никогда. Ты понимаешь? Ты должна мне поклясться, что никому никогда не разболтаешь об этом, иначе я погибну немедленно и навсегда. Ты понимаешь? Никто, кроме трех членов Цека и тебя не будет знать об этом. Для всех остальных будет широко опубликовано всем в назидание, что за доверие белогвардейцам Зудин расстрелян. Понимаешь, так будет везде напечатано: за доверье, за взятки. Иначе нельзя, ведь в этом я виноват, в этом моя вина, Лиза!.. Но все это будет неправда. Ты теперь знаешь настоящую правду, что я жив, но только уехал далеко, вот и все... Ну, прощай, Лизочка! Будь твердой и достойной своего мужа!

Он наспех перецеловал ребятишек и, облокотясь о стол, смотрел, словно клещами распялив улыбку, как, согнувшись от плача, вышла жена в коридор, как подавлено жались к ее юбке ребята и как потом, вдалеке где-то, гулко раздались опять их звонкие, такие родные и милые голосенки.

Только тогда Зудин больше не выдержал, кинулся в постель и беззвучно зарыдал, дергаясь всем телом и ввинтившись зубами в подушку.

Теперь все кончено. Впереди только маленький, невзрачный и такой скучный, один пустой моментик смерти.

"Все кончено!"-- Сколько людей произносили и произносят эти слова, не понимая, что они при этом грубо лгут и думают о чем-то жутком и страшном, которое вот-вот только сейчас непрошенно должно будет начаться взамен того обыденного и привычного, что так уютно тянулось всю их жизнь. Ну, и говорили бы тогда: "начинается что-то ужасное!"-- а то ведь нет же: "все кончено!"-- сердито подумал про кого-то Зудин и стал успокаиваться.

"Вот уж тут кончено, так кончено!..-- подумал он,-- и больше нет ничего впереди, ничегошеньки, даже смерти, потому что ее не почувствую. Почувствую, быть может, острую физическую боль, и то, наверно, какую-нибудь одну десятую секунды, последние ощущения уходящей жизни. Но смерти, самой-то смерти я так и не почувствую, потому что ее нет. Для живого человека ее нет. А мертвый ее не чувствует. Конечно, с точки зрения своей личности, расстаться с жизнью крайне тяжело и обидно",-- и он задумался.

"Досадно вот также, что убьют и ошельмуют, и все теперь будут знать, что вот он какой прохвост и мерзавец, этот Зудин, бывший председатель губернской чрезвычайки, который попался на взятках и за это был расстрелян ради победы над капитализмом".

"Ах, если бы опять пожить, хоть немножечко, если б опять, поработать... Вот хоть на фронт бы сейчас... Какой новой и радостной показалась бы ему эта жизнь, и как совершенно по-новому он сумел бы теперь ее направить"...

"Горький позор достанется детям, когда они подрастут и будут слышать от всех презираемое, всеми запачканное имя. Узнают они все подробности и проклянут память родного отца. Неужели нельзя было без этого?! Как жаль, что он не коснулся этого вопроса в разговоре с Ткачеевым! Просто не подумал".

И, сунув руки в карман, Зудин подошел к окну, стекла которого вздрагивали и дребезжали от частых выстрелов. Он взглянул на реку. Лед шел так же упрямо и красиво, как и раньше, хоть все кругом было пасмурно и сыро. Внизу, за желтой стеною, на каменной панели улицы играли дети, потому что их голоса и движенья ручонок мелькали оттуда. Изредка маленькая девочка с тонкой косичкой, в коротеньком плюшевом пальтеце, прыгала на одной ножке, перескакивая через нарисованные ею ж мелом на камнях панели широкие клетки, и косичка ее дергалась кверху. Вспомнилась Зудину его Маша, и снова противный комок стал подступать прямо к горлу. Но Зудин пересилил себя и сел спокойно за стол.

"А может быть, в самом деле, никак нельзя было не шельмовать! Ведь, в сущности, важно только одно,-- чтобы дело, дело скорейшего счастья всех людей не погибло. Вот что единственно важно, а все другое..."-- и Зудин задумался.

"Ну, что бы было, если бы его расстреляли и потом рассказали бы всем, что убили хорошего товарища? Как бы это было нелепо. Никто ровно бы ничего в этом деле не понял, а главное, никто бы в это не поверил. Сказали бы:-- если не виноват, тогда зачем же было убивать? Значит тут что-то не так! -- И все стали бы думать совершенно не о том, о чем надо было думать".

"И лукаво смеялись бы те, что, прижав робко ушки, жадно тащат по своим одиночным щелям жирные крохи зернистой икры и бутылки вина, намазывая рты голодающим глиной под хохот игривых своих "секретарш". Иль таких нет?!"

"А сколько есть честнейших товарищей, которые так охотно подбирают, только из любви к искусству, все эти объедки шоколада, всех этих балерин, чтобы бережно хранить эту рухлядь, этот мусор минувшего, как святую культуру прошедшего, катаясь в ней, как сыр в масле, и не замечая в орлином гнезде пауков. И для этой "культуры" вырывается, может быть, последняя черствая корочка у тысячей новых, еще неизведанных, худеньких жизней, таких молодых, таких лепестковых и так безвременно обреченных теперь на голодную верную смерть. Как не крикнуть всем этим старьевщикам дерзко и смело в лицо, да так, чтобы крик это звякнул кровавой пощечиной:

-- Смотрите на Зудина! Был такой негодяй, ради прошлого на одно лишь мгновенье позабывший о будущем. Он убит всеми нами, как презренная тварь, как собака! Вас не прельщает его участь?! Так бросайте ж скорей все старье, всякий хлам, как бы ни был он красив и ценен, и думайте только о будущем! О будущем и настоящем!

"А может быть,-- подумал Зудин,-- найдутся и такие, и работой и бытом совсем оторвавшиеся от масс одиночки, что начнут мудрить и придумывать,-- чем черт не шутит! -- как бы спасти революцию... от масс, от рабочих, от бунта, и додумаются... до балерин с шоколадом. И за гаванской сигарой, студя шоколад в тонком фарфоре, играя массивной цепочкой жилета, они будут мычать так спокойно гладко выбритым ртом:

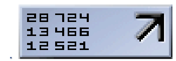
-- Мы, коммунисты...

Что?! А Зудин?! Или этого подлеца, ради вас изувеченного, вы позабыли?!

"Нет, пусть эта ничтожная, жалкая личность вопьется вам всем в мозг, как отвратительный клещ, и станет отныне символом предательства, низости, подлости по отношению к честнейшему и чистейшему делу постоянной и вечной революции ради счастья всех обездоленных людей. В этом упрямом и вечном движении вперед и только для будущего, и только для счастья несчастных,-- весь коммунизм, и ради этого стоит и жить, и погибнуть!"

Зудин гордо и весело распрямился, сверкнул дерзко искрами глаз и, быстро сев прямо на стол, стал от нетерпенья барабанить по нему пальцами.

Там вдали, за рекой, уже струились черною рябью бесконечные колонны рабочих, и над ними весенний воздух гулко звенел и качался от мощного пенья "Интернационала".


28 724
13 466
12 521